



rocketbook

РЭЙ БРЭДБЕРИ

Летнее утро, летняя ночь



Annotation

«Летнее утро, летняя ночь» – один из новейших сборников рассказов великого мастера, которому в августе 2010 года исполнилось 90 лет. Выпущенная под Хеллоуин 2008-го, эта книга представляет собой третий том в каноне, начатом классическим романом «Вино из одуванчиков» и продолженным через полвека романом «Лето, прощай». Здесь под одной обложкой собраны 27 рассказов (одни из них совсем новые, другие представлены в первоначальной авторской редакции), действие которых происходит в любимом с детства миллионами читателей городке Гринтаун – городе, где аромат зреющих яблок дурманит голову, первая любовь обещает быть вечной, а лето не кончается никогда...

- [Рэй Брэдбери](#)

-
-
- [Лето кончилось](#)
- [Большой пожар](#)
- [Все лето в одну ночь](#)
- [Мисс Бидвелл](#)
- [Хлеб из прежних времен](#)
- [Крик из-под земли](#)
- [Всякое бывает](#)
- [В июне, в темный час ночной](#)
- [Летняя прогулка](#)
- [Осенний день](#)
- [Туда и обратно](#)
- [Красавица](#)
- [Приворотное зелье](#)
- [Ночная встреча](#)
- [Кто-то умер](#)
- [У меня есть, а у тебя нету!](#)
- [Первопроходцы](#)
- [Пес](#)
- [Река, что стремилась в море](#)
- [Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети!](#)
- [Проектор](#)

- [Семирукие](#)
 - [Серьезный разговор \(или Мировое зло\)](#)
 - [Светлячки](#)
 - [Цирк](#)
 - [Кладбище \(или Склеп\)](#)
 - [На исходе лета](#)
 - [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
-

Рэй Брэдбери

Летнее утро, летняя ночь (сборник)

Джону Эллеру, с любовью.

Рэй

Ray Bradbury

SUMMERMORNING, SUMMERNIGHT

Copyright © 2008 by Ray Bradbury

© Петрова Е., перевод на русский язык, примечания, 2014

© Издание на русском языке, оформление. ООО
«Издательство «Эксмо», 2014

* * *

Текст рассказа «Лето кончилось» основан на версии, отобранной автором для сборника «Возждение вслепую» (1997). Тексты остальных ранее публиковавшихся рассказов, включенных в настоящий сборник, основаны на самых ранних опубликованных вариантах. Я признателен Дэвиду Спичу, моему коллеге по Институту американской философии при Университете штата Индиана, за редактирование этого сборника.

Лето кончилось

1948

Два. Один. Два. Хэтти замерла в постели, беззвучно считая тягучие, неторопливые удары курантов на здании суда. Под башней пролегли сонные улицы, а эти городские часы, круглые и белые, сделались похожими на полную луну, которая в конце лета неизменно заливала городок ледяным сиянием. У Хэтти зашло сердце.

Она вскочила, чтобы окинуть взглядом пустые аллеи, прочертившие темную, неподвижную траву. На крыльце едва слышно поскрипывало растревоженное ветром кресло-качалка.

Глядя в зеркало, она распустила тугую учительскую кичку, и длинные волосы каскадом заструились по плечам. То-то удивились бы ученики, подумала она, случись им увидеть эти блестящие черные волны. Совсем неплохо, если тебе уже стукнуло тридцать пять. Дрожащие руки вытащили из комода несколько припрятанных подальше маленьких свертков. Губная помада, румяна, карандаш для бровей, лак для ногтей. Воздушное нежно-голубое платье, как облачко тумана. Стянув невзрачную ночную сорочку, она бросила ее на пол, ступила босыми ногами на грубую материю и через голову надела платье.

Увлажнила капельками духов мочки ушей, провела помадой по нервным губам, оттенила брови, торопливо покрасила ногти.

Готово.

Она вышла на лестничную площадку спящего дома. С опаской взглянула на три белые двери: вдруг распахнутся? Прислонившись к стене, помедлила.

В коридор так никто и не выглянул. Хэтти показала язык сначала одной двери, потом двум другим.

Пока она спускалась вниз, на лестнице не скрипнула ни одна ступенька; теперь путь лежал на освещенное луной крыльцо, а оттуда – на притихшую улицу.

Воздух уже был напоен ночными ароматами сентября. Асфальт, еще хранивший тепло, согревал ее худые, не знающие загара ноги.

– Как давно я хотела это сделать.

Она сорвала кроваво-красную розу, чтобы воткнуть ее в черные волосы, немного помедлила и обратилась к зашторенным глазницам окон своего дома:

– Никто не догадается, что я сейчас буду делать.

Она покружилась, любуясь своим летящим платьем.

Вдоль череды деревьев и тусклых фонарей бесшумно ступали босые ступни. Каждый куст, каждый забор будто бы представал перед ней заново, и от этого рождалось недоумение: «Почему же я раньше на такое не отважилась?» Сойдя с асфальта на росистую лужайку, она нарочно помедлила, чтобы ощутить колючую прохладу травы.

Патрульный полицейский, мистер Уолтцер, шагал по Глен-Бэй-стрит, напевая тенорком что-то грустное. Хэтти скользнула за дерево и, прислушиваясь к его пению, проводила глазами широкую спину.

Возле здания суда было совсем тихо, если не считать, что сама она пару раз ударилась пальцами ног о ступени ржавой пожарной лестницы. На верхней площадке, у карниза, над которым серебрился циферблат городских часов, она вытянула вперед руки.

Вот он, внизу – спящий городишко!

Тысячи крыш поблескивали от лунного снега.

Она грозила кулаком и строила гримасы ночному городу. Повернувшись в сторону пригорода, издевательски вздернула подбородок. Закружилась в танце и безмолвно засмеялась, а потом четыре раза щелкнула пальцами в разные стороны.

Не прошло и минуты, как она с горящими глазами бежала по шелковистым городским газонам.

Теперь перед нею возник дом шепотов.

Притаившись под совершенно определенным окном, она услышала, что из тайной комнаты доносятся два голоса: мужской и женский.

Хэтти оперлась о стену; ее слуха достигали только шепоты, шепоты. Они, как два мотылька, трепетали изнутри, бились об оконное стекло. Потом раздался приглушенный, неблизкий смех.

Хэтти подняла руку к ставням; лицо приняло благоговейное выражение. Над верхней губой проступили бисеринки пота.

– Что это было? – вскрикнул находившийся за стеклом мужчина.

Тут Хэтти, подобно облачку тумана, метнулась в сторону и растворилась в ночи.

Она долго бежала, прежде чем снова задержаться у окна, но уже совсем в другом месте.

В залитой светом ванной комнате – не иначе как это была единственная освещенная комната на весь городок – стоял молодой человек, который, позевывая, тщательно брился перед зеркалом. Черноволосый, голубоглазый, двадцати семи лет от роду, он служил на

железнодорожном вокзале и ежедневно брал на работу металлическую коробочку, в которой лежали бутерброды с ветчиной. Промокнув лицо полотенцем, он погасил свет.

Хэтти притаилась под кроной векового дуба – прильнула к стволу, где сплошная паутина да еще какой-то налет. Щелкнул наружный замок, скрипнул гравий под ногами, звякнула металлическая крышка. Когда в воздухе повеяло запахами табака и свежего мыла, ей даже не пришлось оборачиваться, чтобы понять: он проходит мимо.

Насвистывая сквозь зубы, он двинулся по улице в сторону оврага. Она – за ним, перебегая от дерева к дереву: то белой вуалью летела за ильмовый ствол, то лунной тенью укрывалась за дубом. В какой-то миг человек обернулся. Она едва успела спрятаться. С бьющимся сердцем выждала. Тишина. Потом опять его шаги.

Он насвистывал «Июньскую ночь».

Радуга огней, укрепленных над краем обрыва, швыряла его собственную тень прямо ему под ноги. Хэтти была на расстоянии вытянутой руки, за вековым каштановым деревом.

Вторично остановившись, он больше не стал оглядываться. Просто втянул носом воздух.

Ночной ветер принес аромат ее духов на другой край оврага, как у нее и было задумано.

Она не шевелилась. Сейчас был не ее ход. Обессилев от бешеного сердцебиения, она прижималась к дереву.

Казалось, битый час он не решался сделать ни шагу. Ей было слышно, как под его ботинками покорно распадается роса. Теплые запахи табака и свежего мыла повеяли совсем близко.

Он коснулся ее запястья. Она не открывала глаз. А он не произнес ни звука.

Где-то в отдалении городские часы пробили три раза.

Его губы бережно и легко накрыли ее рот.

Потом тронули ухо. Он прижал ее к стволу. И зашептал. Вот, оказывается, кто подглядывал к нему в окна три ночи подряд! Он коснулся губами ее шеи. Вот, значит, кто крадучись шел за ним по пятам прошлой ночью! Он взгляделся в ее лицо. Тени густых ветвей мягко легли на ее губы, щеки, лоб, и только глаза, горевшие живым блеском, невозможно было спрятать. Она чудо как хороша – известно ли это ей самой? До недавних пор он считал ее наваждением. Его смех был не громче тайного шепота. Не сводя с нее глаз, он опустил руку в карман. Зажег спичку и поднял на высоту ее лица, чтобы получше разглядеть, но она притянула к себе его

пальцы и задержала в своей ладони вместе с погасшей спичкой. Через мгновение спичка упала в росистую траву.

– Пускай, – сказал он.

Она не поднимала на него взгляда. Он молча взял ее за локоть и увлек за собой.

Глядя на свои незагорелые ноги, она дошла вместе с ним до края прохладного оврага, на дне которого, меж замшелых, поросших ивами берегов, струилась бесшумная речушка.

Он помедлил. Еще немного – и она подняла бы глаза, чтобы убедиться в его присутствии. Теперь они стояли на освещенном месте, и она старательно отворачивала голову, чтобы ему было видно только ниспадающую темноту ее волос и белизну предплечий.

Он сказал:

– Ты не обязана заходить дальше. В какой стороне твой дом? Можешь отправляться к себе. Но если убежишь, больше не приходи – я не стану такое терпеть ночь за ночью. Это не по мне. У тебя есть выбор. Хочешь – беги!

Мрак летней ночи вдохнул ее спокойное тепло.

Ответом была ее рука, потянувшаяся к нему.

* * *

На следующее утро, спустившись по лестнице, Хэтти застала бабушку, тетю Мод и кузена Джейкоба, которые за обе щеки уминали остывший завтрак и не сильно обрадовались, когда она тоже подвинула себе стул. Хэтти вышла к ним в унылом длинном платье с глухим воротом. Ее волосы были собраны в небольшую тугую кичку; на тщательно умытом лице бескровные губы и щеки казались совсем белыми. От подведенных бровей и накрашенных ресниц не осталось и следа. Ногти будто никогда не знали сверкающего лака.

– Опаздываешь, Хэтти, – как сговорившись, протянули все хором, стоило ей только присесть к столу.

– На кашу не налегай, – предостерегла тетя Мод. – Уже полдевятого. В школу пора. Директор тебе задаст по первое число. Нечего сказать, хороший пример учительница подает ученикам.

Все трое сверлили ее глазами. Хэтти улыбалась.

– За двенадцать лет впервые опаздываешь, Хэтти, – не унималась тетя Мод.

Все так же улыбаясь, Хэтти не двигалась с места.

– Давно пора выходить, – сказали они.

В прихожей Хэтти прикрепила к волосам соломенную шляпку и сняла с крючка свой зеленый зонт. Домочадцы не спускали с нее глаз. На пороге она вспыхнула, обернулась и посмотрела на них долгим взглядом, будто готовилась что-то сказать. Они даже подались вперед. Но она только улыбнулась и выскочила на крыльцо, хлопнув дверью.

Большой пожар

1949

В то утро, когда разгорелся большой пожар, домочадцы оказались бессильны. Пламенем объяло мамину племянницу Марианну, которая гостила у нас, пока ее родители путешествовали по Европе. Так вот: никто не сумел разбить стекло установленного на углу огнетушителя в красном кожухе, чтобы, щелкнув тумблером, включить систему борьбы с огнем и вызвать пожарных в железных касках. Вспыхнув ярче целлофановой обертки, Марианна спустилась в столовую, издала то ли вопль, то ли стон, плюхнулась на стул и едва притронулась к завтраку.

Мама с отцом так и отпрянули – на них повеяло нестерпимым жаром.

– Доброе утро, Марианна.

– А? – Марианна посмотрела сквозь них и рассеянно произнесла: – А, доброе утро.

– Как спалось, Марианна?

На самом-то деле они знали, что ей вообще не спалось. Мама налила Марианне воды, и все ждали, что в девичьих руках из стакана повалит пар. Бабушка, устроившись в своем обеденном кресле, изучила воспаленные глаза Марианны.

– Да ты нездорова, только это не вирус, – заключила она. – Под микроскопом и то не разглядишь.

– Что-что? – переспросила Марианна.

– Любовь – крестная мать глупости, – нехстати высказался отец.

– Все пройдет, – обратилась к нему мама. – Это только кажется, что девушки глупенькие, – потому что любовь плохо влияет на слух.

– Любовь плохо влияет на вестибулярный аппарат, – сказал отец. – От этого девушки падают прямиком в мужские объятия. Уж я-то знаю. Меня чуть не раздавила одна молодая особа, и могу сказать...

– Тише ты! – Мама, покосившись в сторону Марианны, нахмурилась.

– Да она не слышит: у нее ступор.

– Он сейчас подъедет на своей колымаге, – шепнула мама, обращаясь к отцу, словно Марианны рядом не было, – и они поедут кататься.

Отец промокнул губы салфеткой.

– Неужели наша дочь была такой же, мамочка? – спросил он. – Что-то я подзабыл – она уж давно самостоятельная, столько лет замужем. Не припоминаю, чтобы она так же глупила. Когда девушка в таком состоянии,

у нее ума не заметно. Мужчину это и подкупает. Он себе думает: «Симпатичная дурешка, обо мне мечтает, женюсь-ка я на ней». Женился, а наутро просыпается – мечтательности как не бывало, откуда ни возмись мозги появились, барахло уже распаковала, лифчики-трусики по всему дому развешивает. Того и гляди, в бечевках и веревках запутаешься. А мужу из целого мира остается крохотный островок – гостиная. Потянулся за медом, а угодил в медвежий капкан; радовался, что поймал бабочку, а пригляделся – оса. Тут он начинает выдумывать себе увлечения: филателия, масонство, а то еще...

– Хватит, сколько можно! – вскричала мама. – Марианна, расскажи-ка нам про своего молодого человека. Как его там? Айзек ван Пелт, верно?

– Что-что? А... да, Айзек.

Всю ночь Марианна металась в постели: то хватала томик стихов и разбирала витиеватые строки, то переворачивалась со спины на живот, чтобы поглядеть в окно на сонный мир, залитый лунным светом. Всю ночь ее истязал аромат жасмина и мучила необычная для ранней весны жара (а термометр показывал пятьдесят пять по Фаренгейту^[1]). Загляни кто в замочную скважину – увидел бы в кровати полудохлого мотылька.

А наутро она встала перед зеркалом, хлопнула в ладоши над головой и спустилась к завтраку, едва не забыв натянуть платье.

За столом бабушка то и дело чему-то посмеивалась. Наконец она не выдержала и сказала вслух:

– Надо покушать, детка, а то сил не будет.

Тогда Марианна отщипнула кусочек тоста, повертела его в пальцах и откусила ровно половинку. В этот миг за окном взвыл клаксон. Это приехал Айзек! На своей колымаге!

– Ой! – воскликнула Марианна и пулей вылетела из-за стола.

Юный Айзек ван Пелт был приглашен в дом и представлен родне.

Когда Марианна в конце концов укатила, отец опустил в кресло и утер пот со лба.

– Ну и ну. Это уже ни в какие ворота...

– Да ведь ты сам говорил, что пора ей ходить на свидания, – поддела мама.

– Не знаю, кто меня за язык тянул, – сказал отец. – Но она тут околачивается уже полгода, и еще столько же осталось. Вот я и подумал: если бы ей найти подходящего парня...

– ...и выйти за него замуж, – мрачно проскрипела бабушка, – то она бы от нас быстренько съехала, правильно?

– В общих чертах, – сказал отец.

– В общих чертах, – повторила бабушка.

– Чем дальше, тем хуже, – не выдержал отец. – Девчонка летает по дому с закрытыми глазами, что-то поет, крутит эти пластинки с любовными песнями, будь они прокляты, и разговаривает сама с собой. Человеческому терпению есть предел. Она, кстати, еще и хохочет без причины. Интересно, в психушке много восемнадцатилетних?

– Кажется, приличный молодой человек, – заметила мама.

– Остается только уповать на волю Божию. – Отец достал рюмку. – За ранние браки!

На другое утро Марианна, заслышав автомобильный гудок, шаровой молнией ринулась за дверь. Молодой человек даже не успел подняться на крыльцо. Только бабушка, притаившаяся у окна гостиной, видела, как парочка умчалась вдаль.

– Чуть с ног меня не сбила. – Отец пригладил усы. – Что происходит? Мозги плавятся? Ну-ну.

К вечеру Марианна заявилась домой и протанцевала через гостиную к шкафу с пластинками. Зашипела игла граммофона. Песня «Древняя черная магия»^[2] была прокручена двадцать один раз, а Марианна, подпевая «ля-ля-ля», с закрытыми глазами кружилась по комнате.

– В собственном доме не войти в гостиную, – сетовал отец. – Я ушел на пенсию, чтобы курить сигары и наслаждаться жизнью, а приходится смотреть, как под люстрой вьется и жужжит это слабое создание – племянница.

– Тише ты! – шикнула мама.

– Для меня это жизненный крах, – объявил отец. – Хорошо еще, что она всего лишь приехала в гости.

– Ты же понимаешь, что значит для девушки приехать в гости. Вдали от дома ей кажется, будто она во Франции, в Париже. В октябре она от нас съедет. Осталось всего ничего.

– Это как посмотреть, – выговорил отец, прикинув кое-что в уме. – Может, я до того времени не дотяну сто тридцать дней и сам от вас съеду – на кладбище. – Он вскочил со стула и в сердцах отшвырнул газету, которая белым шатром застыла на полу. – Честное слово, мамочка, сейчас я ей все выскажу.

Решительным шагом он направился к дверям гостиной и остановился, наблюдая за танцующей Марианной.

– Ля! – пропела она в такт музыке.

Кашлянув, отец ступил через порог.

– Марианна! – окликнул он.

– «Древняя черная магия...» – выводила Марианна. – Что-что?

Он следил за плавными движениями ее рук. Протанцевав мимо отца, она вдруг испепелила его взглядом.

– Мне надо с тобой поговорить. – Он поправил галстук.

– Да-дум-ди-ду-дум-ди-дум-ди-ду-дум, – распевала она.

– Ты меня слышишь? – сурово спросил отец.

– Он такой душка, – бросила она.

– Не спорю.

– Подумать только, он кланяется и распахивает передо мной двери, прямо как швейцар, и еще играет на трубе не хуже Гарри Джеймса, а сегодня утром привез мне букет ромашек!

– Допустим.

– У него голубые глаза. – Она воздела взор к потолку.

Отец не углядел там ничего примечательного.

А она все смотрела в потолок, где не было ни малейшей протечки, ни трещинки, и без остановки кружилась в танце, даже когда отец подошел совсем близко и со вздохом повторил:

– Марианна.

– В ресторанчике у реки мы ели омаров.

– Омары – понятное дело, но мы не хотим, чтобы ты переутомлялась, выбивалась из сил. Когда-нибудь – вот прямо завтра – останься дома, помоги тете Мэт подрубить салфеточки.

– Да, сэр. – Как во сне, она плыла по комнате, расправив крылья.

– Ты слышала, что тебе сказано? – вышел из себя отец.

– Да, – шепнула она. – О да. – И снова, не открывая глаз: – Да-да.

А потом под шуршанье юбок добавила:

– Дядюшка. – И запрокинула голову, раскачиваясь из стороны в сторону.

– Так ты поможешь тете? – прокричал отец.

– ...подрубить салфеточки, – промурлыкала она.

– Вот так-то! – Вернувшись в кухню, отец присел на стул и подобрал с пола газету. – Не кто-нибудь, а я поставил ее на место!

* * *

Тем не менее на следующее утро, не успев спустить ноги с кровати, он услышал оглушительные вопли автомобильного гудка, под которые Марианна сбегала вниз, на пару секунд задержалась в столовой, бросила

что-то в рот, помедлила у дверей ванной, пока соображала, вырвет ее или нет, а потом хлопнула входной дверью – и колымага задребезжала по мостовой, унося вдаль фальшиво распеваящую парочку.

Отец обхватил голову руками.

– С салфеточками надули-с, – пробормотал он.

– Ты о чем? – спросила мама.

– «Дулиз», – ответил отец. – Загляну-ка я в «Дулиз» с утра пораньше.

– «Дулиз» только в десять открывается.

– Тогда еще полежу, – решил отец и смежил веки.

Весь вечер и еще семь безумных вечеров подвесная скамья на открытой веранде выводила свою скрипучую песню: туда-сюда, туда-сюда. Гостиную оккупировал отец: видно было, как он с мстительным удовольствием затягивался десятицентовой сигарой и вишневый огонек освещал его неизменно-трагическое лицо. А на веранде мерно поскрипывала подвесная скамья. Отец ждал очередного скрипа. Снаружи до его слуха доносились какие-то шепоты, словно трепыханье ночной бабочки, приглушенные хохотки и милые незначащие словечки, предназначенные для нежных ушек.

– У меня на веранде, – выдавил отец. – На моей скамье, – шепнул он своей сигаре, глядя на огонек. – В моем доме. – Он дождался следующего скрипа. – Боже мой.

Сходив в чулан, он появился на темной веранде с поблескивающей масленкой в руках.

– Ничего-ничего. Вставать не обязательно. Я не помешаю. Вот только здесь и еще тут.

Он смазал скрипучие соединения. Тьма была – хоть выколи глаза. Марианну он не видел, только чувствовал ее запах. От аромата ее духов он чуть не свалился в розовые кусты. Не видел он и ее кавалера.

– Спокойной ночи, – выговорил он.

Вернувшись в дом, он уселся в гостиной: скрипа как не бывало. До его слуха доносился только стук сердца Марианны; а может, это был трепет крыльев ночной бабочки.

– По всей видимости, приличный молодой человек, – сказала мама, появившись на пороге с кухонным полотенцем и вымытой тарелкой в руках.

– Надеюсь, – шепотом ответил отец. – Иначе стал бы я их пускать, что ни вечер, на свою веранду!

– Действительно, столько дней подряд, – сказала мама. – Если девушка так часто встречается с молодым человеком, значит, у них серьезно.

– Не иначе как сделает ей предложение, прямо сегодня! – озарила отца счастливая мысль.

– Рановато еще. И потом, она так молода.

– Ну и что? – размышлял вслух отец. – Это не исключено. Все к тому идет, ей-богу.

Бабушка, утопая в мягком кресле, задвинутом в угол, тихонько приснула. Казалось, это зашелестели страницы древнего фолианта.

– Что смешного? – не понял отец.

– Сам увидишь, – ответила бабушка. – Прямо завтра.

Отец напряженно вглядывался в темноту, но бабушка была нема как рыба.

* * *

– Значит, так, – произнес за завтраком отец и благосклонно, породственному оглядел яичницу. – Значит, так: бог свидетель, ночью на веранде шепотки *не умолкали*. Как там его зовут? Айзек? Так вот: если я хоть что-то смыслю, этой ночью он сделал Марианне предложение; да, не сомневаюсь!

– Как было бы славно, – сказала мама. – Весенняя свадьба. Только очень уж *поспешно*.

– Слушай, – возразил отец с полным ртом логики, – Марианна из тех девиц, что спят и видят, как бы выскочить замуж. Не станем же мы ей мешать, правда?

– В порядке исключения должна признать, что ты прав, – сказала мама. – Законный брак оказался бы очень кстати. Весенние цветы, Марианна в подвенечном наряде – я на той неделе присмотрела в «Хейдекере» дивное платье.

Все взгляды устремились на лестницу, по которой вот-вот должна была спуститься Марианна.

– Я, конечно, извиняюсь, – зашуршала бабушка, подняв глаза от ломтика подсушенного хлеба. – Только я бы на вашем месте не спешила радоваться, что Марианну удалось сбить с рук.

– Это почему?

– Да потому.

– То есть как?

– Жаль вас огорчать, – с усмешкой прошелестела бабушка и язвительно покачала усохшей головой, – но пока вы, милые мои,

раздумывали, как бы выдать Марианну замуж, я с нее глаз не спускала. Семь дней кряду этот юнец подкатывал на машине и гудел под окнами. Видно, артист или фокусник, не иначе.

– Как это? – не понял отец.

– Да вот так, – сказала бабушка. – То он молодой блондин, то долговязый брюнет, в среду – щеголь с темными усиками, в четверг – рыжий и кудрявый, в пятницу – коротышка, да еще подкатил на стареньком «шевроле», а не на «форде».

Мать с отцом остолбенели, будто каждый получил молотком в область левого уха.

Наконец отец, побагровев, закричал:

– На что ты намекаешь? Ты, женщина, спокойно смотрела, как эти негодяи... и у тебя...

– А что ж ты сам отсиживался? – огрызнулась бабушка. – Тебе лишь бы тишь да гладь. Кабы вышел на свет божий – увидел бы своими глазами, вот как я. Только я помалкивала. Пусть перебесится. Сейчас у нее время такое. Каждая женщина должна через это пройти. Бывает тяжело, но от этого еще никто не умирал. Новый молодой человек каждый день – что может быть лучше, если девушке не хватает уверенности!

– Ах ты... Ты, ты, ты, *ты!* – Отец задохнулся, у него бешено засверкали глаза и надулась шея, грозя разорвать воротник.

Он бессильно откинулся назад. Мама онемела.

– Всем доброе утро! – Марианна сбежала по ступенькам и плюхнулась на стул.

Отец просверлил ее взглядом.

– Это все ты, ты, ты, ты, ты, – твердил он бабушке.

«Сейчас заору и побегу по улице, – думал, как безумный, отец, – разобью стекло пожарной сигнализации, рвану вниз рычаг, и пусть примчатся пожарные машины с брандспойтами. А когда повалит снег – по весне такое не редкость, – выставлю Марианну на мороз: пусть остынет».

Но он не сделал ни первого, ни второго. Для того времени года, на какое указывал настенный календарь, в столовой было слишком жарко, и все перекочевали на открытую веранду, где прохладнее, а Марианна осталась сидеть над стаканом апельсинового сока.

Все лето в одну ночь

1950

– Большой вымахал, не поднять! – Дед подбросил его к сверкающей люстре.

Сидевшие за столом постояльцы расхохотались, не выпуская из рук вилки и ножи. Десятилетний Дуг был пойман в воздухе и усажен на стул; бабушка налила ему поварешку обжигającego супа. Сухарики, если надкусить, хрустели, как снег. Кристаллы соли играли не хуже бриллиантов. А в дальнем конце стола, опустив, по обыкновению, взгляд серых глаз на свои руки, которые помешивали ложечкой кофе или отламывали кусочек имбирного печенья, чтобы положить на него чуть-чуть масла, примостилась мисс Леонора Уэлкс, с кем мужчины никогда не сидели на садовых качелях и не ходили летними ночами гулять в городской овраг. Мисс Леоноре оставалось только провожать взглядом из окна летний дрейф парочек по темным тротуарам, а у Дуга от этого сжималось сердце.

– Здравсьте, мисс Леонора, – обратился он к ней.

– Здравствуй, Дуг. – Ее ответ пролетел над курганами дымящейся еды, и жильцы на мгновение повернули головы, но тут же продолжили обычный ритуал.

О, мисс Уэлкс, думал он, мисс Уэлкс! Всадить бы каждому из этих едоков серебряную вилку в бок, чтоб вели себя уважительно, когда мисс Уэлкс просит передать масленку. А то ведь даже не поворачиваются в ее сторону – треплются себе с другими. На люстру и то обращали больше внимания, чем на мисс Уэлкс. «Красивая, правда?» – восхищались они. «Просто блеск!» – кричали наперебой.

Но они не знали мисс Уэлкс так, как знал ее он. Она сверкала разными гранями почище хрустальной люстры, если смотреть под правильным углом: только развесели – и ее смех зазвенит на открытой летней веранде мелодичными китайскими колокольчиками. Но нет, для постояльцев она была – что паутина на стенке или пыль под ногами, и Дуглас, готовый провалиться сквозь землю, вжимался в стул и не сводил с нее глаз, пока расправлялся с супом и салатом.

Из своих комнат спустились, щебеча, три молодые женщины, припозднившиеся к ужину. Эти всегда приходили последними, как примадонны, выплывающие на сцену из потертой бархатной кулисы. Они завели манеру брать друг дружку за плечи и разглядывать, чтобы

удостовериться, ровно ли нарумянены щеки, не выбилась ли прядочка из прически, не склеились ли ресницы, покрашенные тушью из особой коробочки, куда требовалось прежде поплевать; после такой проверки все трое еще немного медлили, расправляли юбки и только тогда представляли перед публикой, а мужчины-постояльцы разве что не устраивали овацию.

– Приветик, Том, Джим, Билл. Джон, Питер, приветик!

С набитыми ртами пятеро поименованных вскакивали из-за стола и выдвигали стулья для молодых прелестниц; от общего хохота люстра издавала мученический стон.

– Смотрите, что я получила!

– Поглядите, что у меня!

– А у меня – вот что!

Дамочки хвалились подарками, непременно распаковывая свертки за общим столом. Ну ладно, сегодня было Четвертое июля, но и в другие, хоть чем-то примечательные дни происходило то же самое – они развязывали ленточки и восклицали: ах, зачем же, право! Даже на День памяти павших были подарки, вот ведь до чего доходило. На дни рождения Линкольна, Вашингтона и Джефферсона, на День Колумба, на пятницу тринадцатого числа. Анекдот, да и только. А однажды им преподнесли сувениры в обычный будний день, причем с записочками: «По случаю понедельника!» Это событие вспоминали потом еще полгода.

Сейчас они, гремя коробочками, дергали банты кроваво-красными ногтями, а в отдалении, где соединялись два берега едоков, сидела мисс Леонора Уэлкс, которая и так-то ела небольшими кусочками, а теперь еще более замедлила трапезу, неслышно положила вилку и ждала, когда под хрустальным светом люстры откроются взору новые подношения.

– Духи! В звездно-полосатом футляре!

– Ароматические соли для ванны, а флакон в виде шутихи!

– Конфеты! Уложены столбиками, как хлопушки!

Все выразили восхищение.

Мисс Леонора Уэлкс тоже сказала:

– Какая прелесть!

И почти сразу:

– Спасибо. Замечательный ужин.

– А десерт не будете? – удивилась бабушка.

– В меня больше не поместится. – С этими словами мисс Уэлкс, улыбаясь, выскользнула из-за стола.

– Понюхайте! – вскричала одна из дамочек, проведя откупоренным флаконом под мужскими носами.

– Ах! – восхитились все разом.

* * *

Дуглас пулей вылетел из дверей; створки еще не успели сомкнуться у него за спиной, а он уже – в шестьдесят восемь прыжков, босиком – пересек прохладную зеленую лужайку. В кармане позвякивала мелочь – остаток от суммы, скопленной на праздничные хлопушки, причем остаток весьма приличный. Босые ступни зашлепали по нагретому солнцем асфальту, перебежали через дорогу и остановились перед витриной лавки миссис Зингер, где красовались разложенные красными кругами чертики, торпеды в опилках, десятидюймовые петарды – такие кому хочешь голову снесут и на дерево закинут вместо футбольного мяча, а рядом девятидюймовые – эти могут консервную банку зафитилить аж на солнце, и огненные шары – большая редкость, красотища, прямо как усталые бабочки, красные, белые, синие, сложившие шелковистые крылышки, но готовые вспорхнуть, напиться теплым воздухом и улететь в летнюю ночь, прямо к звездам. Да, много там было ценных вещей, так бы и рассовал их по карманам, но почему-то, стоя у витрины и пересчитывая монеты – десять, двадцать, сорок центов, доллар семьдесят, – бережно хранимые, заработанные стрижкой газонов и кустарников, он оглянулся на бабушкин дом и нашел глазами самое верхнее окошко под маленьким зеленым куполом, затворенное даже в жару и вечно полуприкрытое шторами. Окошко мисс Уэлкс.

Через полчаса на улицу начнут дружно, как летний ливень, высыпать мальчишки; голые пятки дождевыми каплями застучат по тротуарам, а руки будут сжимать всякую пиротехнику, хотя обожженные большие пальцы, пропахшие серой и гарью, и без того замотаны маленькими тюрбанчиками пластыря; его тоже закружит горящая карусель, когда ребята станут размахивать бенгальскими огнями, чтобы расцветить летнюю духоту искристой вязью своих имен и судеб, оставляющей после себя огромные белые знаки – их светящийся след можно разглядеть из окна хоть в три часа ночи, когда не спится после такого дня и такого вечера. Через полчаса он станет толстым обладателем сокровищ: в нагрудные карманы перекочают торпеды, а с денежками придется расстаться. Но это – потом. А пока он крутил головой, переводя взгляд от верхнего окна в бабушкином доме к магазинной витрине, которая ломилась от взрывчатых чудес.

Не счесть, сколько раз зимними вечерами входил он в каменное здание

городской библиотеки и видел там мисс Уэлкс: у локтя – штемпельная подушечка, в руке – лиловый каучуковый штемпель, а за спиной – необъятные книжные стеллажи.

– Добрый вечер, Дуглас.

– Здравсьте, мисс Уэлкс.

– Помочь тебе найти новых друзей?

– Да, мэм.

– Знаю одного человека по фамилии Лонгфелло, – говорила она. – Знаю человека по фамилии Уиттиер.

Вот, пожалуй, и весь разговор. Интереснее всего была не сама мисс Уэлкс, интереснее всего были ее знакомые. Осенними вечерами, когда библиотека по непонятной причине могла пустовать несколько часов кряду, она говорила: «Схожу-ка я за мистером Уиттиером». И скрывалась за теплыми полками, а вернувшись, усаживалась под зеленым стеклянным колпаком настольной лампы и открывала книгу сообразно времени года, а Дуглас, сидя на табурете, смотрел, как она шевелит губами; бо́льшую часть времени ей даже не требовалось сверяться со словами – она просто отводила взгляд или вообще закрывала глаза, а сама читала стихотворение про тыкву:

В лесу – виноград, на лещине – орехи.
Но разве годятся они для потехи,
Чтоб вырезать ножиком жуткие маски
Да свечки внутри запалить для остратки?!

И, уходя домой, Дуглас, как зачарованный, тянулся вверх.

А серебристыми зимними вечерами, когда его рука, вместе с рукой ветра, настезь распахивала двери библиотеки, да так, что на самых дальних прилавках шевелились пылинки, а журналы в больших пустынных залах начинали перелистывать собственные страницы, кто оказывался самым желанным гостем? Ну конечно же, добрый друг мисс Уэлкс, мистер Роберт Фрост. Фрост, «мороз» – самая зимняя фамилия! У него было стихотворение про то, как зимним вечером лес прямо на глазах полнится снегом...

А летом – не далее как вчера – опять мистер Уиттиер; горожане прятались от духоты в каменных домах или отдыхали на открытых верандах; библиотека раскалилась, как печка, и под зеленым стеклянным колпаком звучало:

Каждое утро
Мальчонка босой
В поле проходит
Крещение росой.

И овальное лицо мисс Уэлкс, обрамленное паутинкой седеющих волос, ничем не примечательное, будто по волшебству заливалось румянцем, губы увлажнялись, в глазах вспыхивали отраженные от книжных страниц блики, а волосы озарялись ярким блеском!

Зимой он пробивался к дому через заколдованную ледяную пустыню, летом – сквозь горячие ветры чудес: каждое время года было особенным после вечерних чтений мисс Уэлкс, потому что у нее было много друзей, с которыми она, выбрав момент, знакомила и Дугласа. Мистер По, мистер Сэндберг, мисс Эми Лоуэлл, мистер Шекспир.

Створка двери под его рукой отъехала вбок.

– Миссис Зингер, – заговорил он, – у вас продаются духи?

* * *

Подарочный сверток, прислоненный к ее двери, лежал на верхней площадке. Ужин закончился раньше обычного, уже к шести часам. В преддверии шумного праздника всюду наступило затишье. Только снизу доносилось звяканье посуды, расставляемой по кухонным полкам. Затаившись на последней лестничной ступеньке, перед полутемным входом на чердак, Дуглас ждал, что мисс Уэлкс вот-вот повернет медную дверную ручку и сверток упадет к ее ногам, неподписанный, анонимный, перевязанный блестящей лентой и сверкающий золотыми звездочками.

Наконец дверь отворилась. Сверток упал.

У мисс Уэлкс был такой вид, будто она стоит над обрывом и не знает, что ее ждет. Медленно оглядевшись по сторонам, она нагнулась за подарком. Сверток остался нераскрытым: мисс Уэлкс застыла на пороге, держа его в руках. Дуглас услышал, как она возвращается к себе в комнату и кладет находку на стол. Шороха бумаги так и не было. Она разглядывала подарочную упаковку, ленты, звездочки, но не решалась дотронуться.

«Мисс Уэлкс, ну что же вы, мисс Уэлкс!» – едва не закричал он.

Через полчаса она вышла на веранду, опустилась в кресло, сложив на груди тонкие руки, и стала смотреть на дверь. Таков был летний ритуал: по

вечерам все выходили посидеть на веранде, в креслах-качалках, на расшитых подушках; женщины болтали за рукоделием, мужчины курили, дети лениво играли на ступенях. Но сейчас для этого было рановато, веранды еще хранили жару, отголоски дня на время утихли, годовщина Гражданской войны за независимость взяла отсрочку на час под бульканье лимонада и звяканье посуды в кухонных раковинах. На улице не было ни души, кроме мисс Леоноры Уэлкс; от ее бледности не осталось и следа, она разругалась и всем телом подалась вперед, не отводя взгляда от входной двери. Дуглас залез на дерево и молча наблюдал за ней с высоты. Он не стал ее окликать, и она его не замечала; так прошел час; на город опускались сумерки. Дом огласился звуками праздничных приготовлений. Неистово трезвонили телефоны, туфли отбивали дробь по каскадам лестниц, трое дамочек хихикали, хлопали дверями ванных комнат и в конце концов поодиночке прошествовали вниз, по ступеням парадного крыльца, каждая под ручку со своим ухажером. Всякий раз, когда распаивалась входная дверь, мисс Уэлкс подавалась вперед с неудержимой улыбкой. И каждый раз откидывалась на спинку кресла при виде молодых девиц, наряженных во что-то зеленое и струящееся: они, как головки чертополоха, улетали с ветром в полумрак, одаривая смехом своих кавалеров.

В доме оставались только мистер Бритц и мистер Джеррик, которые тоже занимали верхние комнаты, через площадку от мисс Уэлкс. Каждый из них лениво насвистывал, бреясь перед зеркалом, а потом долго возился с галстуком.

Мисс Уэлкс перегнулась через гроздь герани, чтобы заглянуть к ним в окна. Со стороны было заметно, что у нее участилось сердцебиение, потому что ее лицо приобрело форму сердечка и покраснелось. Она искала глазами того, кто сделал ей подарок.

Тут Дуглас втянул носом это благоухание. И едва не свалился с дерева.

Мисс Уэлкс нанесла капельки духов на шею и мочки ушей, причем не раз и не два: «Аромат летней ночи», девяносто семь центов за флакон! И специально села так, чтобы теплый ветер встречал волной этого аромата каждого, кто выйдет на веранду. Так она по-своему говорила: «Я получила ваш подарок. Ну как?»

«Это – от меня, мисс Уэлкс!» – безмолвно кричал Дуглас, свешиваясь с дерева и холодея, как сосулька.

– Добрый вечер, мистер Джеррик. – Мисс Уэлкс привстала с кресла.

– Вечер добрый. – Возникший на пороге мистер Джеррик повел носом, глядя в ее сторону. – Хорошего вам отдыха. – И, насвистывая, сошел по ступенькам.

Значит, оставался только мистер Бритц, который вышел в лихо надвинутой на один глаз соломенной шляпе, мурлыча какой-то мотивчик.

– Я здесь, – проговорила мисс Уэлкс и поднялась с кресла в полной уверенности, что наконец-то дождалась: он выходил из дому последним.

– Вижу, – прищурился мистер Бритц. – А запах-то, запах! Не думал, что вы любите духи.

– Это подарок.

– Что ж, неплохо. – И мистер Бритц танцующей походкой спустился по ступеням, с шиком закинув на плечо тросточку. – Счастливо повеселиться, мисс Уэлкс.

Мисс Уэлкс по-прежнему сидела в кресле, а Дуглас свешивался с прохладного дерева. В кухне уже никто не гремел посудой. Вот-вот должна была выйти бабушка со своей любимой подушкой и бутылочкой снадобья от комаров. Дед привычным движением обрежет кончик дешевой сигары и начнет пыхать, убивая наповал всех насекомых, которые к нему приблизятся; вскоре на празднование Дня независимости в Сполдинг-Хаус явятся тетушки со своими мужьями, и будет устроен фейерверк: под всполохами звездного дождя дед займет позицию посреди неосвещенной лужайки, преобразится в Юлия Цезаря, торжественно поднимет вверх римские свечи и направит в нужную сторону пучки красного огня в шипящих кольцах искр и дыма, а гости, словно по велению шамана, разинут рты и заахают, покрываясь сине-красно-желто-белыми пятнами от разрывов праздничных ракет под облачно-звездным небом. Задребезжат оконные стекла. А мисс Уэлкс будет сидеть среди чужих людей и благоухать, пока ее духи не выдохнутся под натиском печальных запахов трута и серы.

* * *

Тускло освещенная улица огласилась детскими криками: приятели звали Дугласа гулять, но он не отвечал, затаившись в своем укрытии. В кармане оставалось ровно полтора доллара. Мальчишки убежали в темноту.

Дуглас раскачался и, спрыгнув с ветки, приземлился точно у крыльца.

– Мисс Уэлкс?

– Да? – Она подняла голову.

Почему-то в последний момент он оробел. А вдруг она откажется, вдруг от смущения убежит к себе наверх, запрется в комнате и больше не выйдет?

– Сегодня вечером, – решил он, – в кино идет бесподобный фильм. «Здравствуй, опасность», с Гарольдом Ллойдом. Сеанс в восемь, а после можно поесть мороженого – кафе «Миднайт-драгстор» открыто до без четверти двенадцать. Я мигом, только переоденусь.

Ни слова не говоря, она посмотрела на него сверху вниз. Потом открыла дверь и начала подниматься по лестнице.

– Мисс Уэлкс! – закричал он.

– Решено, – отозвалась она. – Беги, тебе еще надо обуться!

* * *

В половине восьмого, когда стали собираться гости, Дуглас пригладил мокрые вихры и вышел на веранду в темном костюме и синем галстуке, обутый в тяжелые, тесные ботинки.

– Дуглас, ты куда? – загалдели тетушки, дядья и бабушка с дедом. – А как же фейерверки?

– Да ну их.

Он покосился туда, где лежали наготове упоительно пахнущие порохом яркие петарды, шутихи и ракетницы, но самое главное – три огненных шара, сложившие до поры до времени свои крылья; он был сам не свой до этих шаров, потому что они летали, как летние сны, беззвучно уходили все дальше и дальше в неподвижную тишину и дышали мягким сиянием, покуда хватало сил провожать их взглядом. Да, тоскливо будет без огненных шаров, киношка «Элит» с ними не сравнится...

Среди гостей пробежал шепоток; тут створки двери скользнули в стороны, и на веранде появилась мисс Уэлкс.

– Добрый вечер, мистер Сполдинг, – обратилась она к Дугласу.

– Добрый вечер, мисс Уэлкс, – отозвался он.

На ней был элегантный, отутюженный серый костюм, которого прежде никто не видел, и соломенная шляпка; в неярком свете фонаря она всем своим обликом напоминала ожившее мраморное изваяние богини, сошедшее с огромных библиотечных часов.

– Идемте, мистер Сполдинг?

И Дуглас помог ей спуститься с крыльца.

– Хорошего вам праздника, – пожелали гости.

– Дуглас! – окликнул дед.

– Да, сэр?

– Дуглас... – Дед вынул изо рта сигару и помолчал. – Отложу-ка я один

огненный шар. Спать не лягу, дождусь тебя. Запалим его вместе и отпустим в небеса. Как тебе такой план?

– Супер! – сказал Дуглас.

И повел мисс Леонору Уэлкс вдоль по улице, по теплому летнему тротуару, и всю дорогу до кинотеатра «Элит» у них с языка не сходили мистер Лонгфелло, мистер Уиттиер и мистер Эдгар По.

Мисс Бидвелл

1950

Летними вечерами, с семи до девяти, почтенная мисс Бидвелл сживала в скрипучем кресле-качалке за стаканом лимонада на крыльце своего дома, что стоял на Сент-Джеймс-стрит. Ровно в девять с негромким стуком закрывалась дверь, поворачивался в замке медный ключ, с шорохом опускались жалюзи, и особняк погружался в темноту.

Заведенный порядок никогда не менялся. Старушка жила одна, среди причудливых картин и запыленных книг, в компании желтозубого рояля да музыкальной шкатулки, которая, если ее завести, потрескивала, как пузырьки лимонной шипучки. Мисс Бидвелл кивала каждому, кто проходил мимо, и всем было любопытно, почему в дом не ведут ступеньки. Ни со стороны дощатого крыльца, ни с черного хода; да и то сказать, мисс Бидвелл уже сорок лет не выходила из дому. В далеком тысяча девятьсот девятом году она приказала срубить обе лестницы и огородить входы.

Осенью, когда подходил срок все запирать на замки, забивать досками, укрывать от непогоды, она в последний раз выпивала лимонад на стылом, неуютном крыльце, а потом затаскивала в дом плетеное кресло-качалку, чтобы исчезнуть до весны.

– Вот, сейчас уйдет, – сказал мистер Уидмер, бакалейщик, указывая в ее сторону красным яблоком. – Можете убедиться. – Он постучал пальцем по настенному календарю. – На дворе сентябрь, вчера был День труда; а времени сейчас – ровно девять вечера.

Немногочисленные покупатели устали на дом мисс Бидвелл. Старушка, напоследок поглядев через плечо, скрылась за дверью.

– До первого мая вы ее не увидите, – объяснил мистер Уидмер. – У нее в кухонной стене пробито маленькое оконце. Я отпираю ставни своим ключом, чтобы просунуть туда пакет с продуктами. На подоконнике нахожу конверт с деньгами и список заказов. А сама хозяйка носу не кажет.

– Чем же она занимается всю зиму?

– Одному богу известно. У нее уж сорок лет как установлен телефон, только она к нему не подходит.

В доме мисс Бидвелл было темно.

Мистер Уидмер аппетитно хрустнул сочным яблоком:

– К тому же сорок лет назад приказала снести лестницу.

– Почему? Скончались ее родители?

– Их не стало задолго до этого.

– Умер муж? Или кто-то из детей?

– Ни мужа, ни детей у нее отродясь не было. Встречалась, правда, с одним парнем – тот все рвался мир посмотреть. Вроде как собирались пожениться. Он, бывало, сядет на крыльце с гитарой и поет для нее одной. А в один прекрасный день вдруг отправился на вокзал да и купил себе билет до Аризоны, оттуда рванул в Калифорнию, а потом в Китай.

– Долгонько же у нее теплится огонек.

Все посмеялись, но негромко и уважительно, потому что это было грустной истиной.

– Как по-вашему, она когда-нибудь выйдет на улицу?

– Да ведь ей за семьдесят. Из года в год я только и делаю, что жду первого мая. Если в этот день она не появится на крыльце, чтобы сесть в кресло, я пойму, что ее нет в живых. Тогда придется звонить в полицию.

Покупатели разошлись, пожелав друг другу доброй ночи, а мистер Уидмер остался стоять в неярком свете бакалейной лавки.

Надев пальто, он прислушивался к завываниям ветра. Да, из года в год. И каждый год он замечал, что старушка одряхла еще больше. Она возникала чуть поодаль, будто за стеклом барометра, где к ясной погоде появляется женская фигурка, а в преддверии ненастья – мужская. Но этот барометр оказался неисправен, в нем появлялась только женщина, а мужчина – никогда, ни при какой погоде. Сколько тысяч июльских и августовских вечеров выходила она на крыльцо, отделенное от тротуара зеленой лужайкой, непреодолимой, как река, кишущая крокодилами? Сорок лет копились такие ночи в захолустном городке. На сколько это потянет, если прикинуть на весах? Для него – не тяжелее перышка, а для нее?

Мистер Уидмер уже надевал шляпу, когда увидел этого незнакомца. Тот брел по другой стороне улицы – старик, освещенный светом единственного уличного фонаря. Он присматривался к номерам домов, а дойдя до угла и различив номер 11, остановился и заглянул в темные окна.

– Не может быть! – ахнул мистер Уидмер, выключил свет и, окутанный уютными бакалейными запахами, стал наблюдать за стариком через стекло витрины. – Надо же, ведь столько воды утекло.

Он покачал головой. Стоит ли так волноваться? Не пора ли за сорок лет привыкнуть, что у него ежедневно, по меньшей мере раз в сутки, учащается сердцебиение, если кто-то замедляет шаги у дома мисс Бидвелл? Каждый прохожий, который останавливался у этого запертого дома, пусть даже для того, чтобы просто завязать шнурок, попадал на заметку мистеру Уидмеру.

«Не ты ли тот прохиндей, что сбежал от нашей мисс Бидвелл?» – молча вопрошал он.

Однажды, лет тридцать назад, мистер Уидмер, как был, в белом фартуке, хлопавшем на ветру, бросился на другую сторону улицы и преградил путь какому-то парню:

– Ага, тут как тут!

– В чем дело? – растерялся прохожий.

– Не вы ли будете мистер Роберт Фарр, который дарил ей красные гвоздики, играл на гитаре и пел?

– Нет-нет, моя фамилия Корли. – И молодой человек вытащил образцы шелковой ткани, предлагаемой на продажу.

С годами бакалейщик начал беспокоиться: если мистер Фарр и вправду надумает вернуться, как же его опознать? Мистеру Уидмеру запомнились размашистые шаги и открытое молодое лицо. Но случается, за четыре десятка лет время очищает человека от шелухи, иссушает костяк и вытравливает плоть, будто для искусного офорта. Возможно, в один прекрасный день мистер Фарр вернется, как гончий пес, взявший старый след, но, по недосмотру мистера Уидмера, решит, что ее дом заколочен, задвинут в прошлый век, – и уйдет восвояси в полном неведении. Возможно, такое уже произошло!

А пока за окном маячил все тот же незнакомец, престарелый и непостижимый, появившийся в сентябре, после Дня труда, в четверть десятого вечера. У него плохо гнулись ноги, спина горбилась, а взгляд был устремлен в сторону фамильного особняка Бидвеллов.

– Последняя попытка, – пробормотал мистер Уидмер. – Суну-ка я свой нос куда не просят.

Неслышно ступив на прохладную брусчатку, он двинулся к противоположному тротуару. Старик обернулся.

– Добрый вечер, – приветствовал его мистер Уидмер.

– Подскажите, пожалуйста, – сказал старик, – это, как и прежде, дом Бидвеллов?

– Совершенно верно.

– Там кто-нибудь проживает?

– Мисс Энн Бидвелл.

– Благодарю вас.

– Доброй ночи.

У мистера Уидмера бешено заколотилось сердце, и он отошел, ругая себя последними словами. Почему ты ни о чем не спросил, болван? А вы почему промолчали, мистер Фарр? Ведь это вы, мистер Фарр?

Но ответ был известен. Ему страстно хотелось, чтобы на сей раз это непременно оказался мистер Фарр. Осуществить такое желание можно было одним-единственным способом: оставить в покое мыльный пузырь действительности. А ответ на вопрос, заданный в лоб, грозил разрушить мечту. Нет, я не мистер Фарр, нет, я не он. Если же не задавать лишних вопросов, то можно было преспокойно подняться к себе в спальню, лечь в постель и добрый час рисовать в своем воображении старомодные, окрашенные неуместной романтикой картины возвращения странника в родные края после долгих скитаний по городам и весям. Это был самый сладостный обман. Никто ведь не спрашивает у сна, видим ли мы его наяву, иначе наступает пробуждение. Ну ладно, пусть тот старик (налоговый инспектор, мусорщик – не все ли равно?) хотя бы на одну ночь станет пропавшим скитальцем.

Вернувшись к своей лавке, мистер Уидмер вошел через боковую дверь и поднялся наверх по узкой, темной лестнице в квартирку, где сладко спала его жена.

«Допустим, это и вправду он, – размышлял бакалейщик, лежа под одеялом. – Начнет бить кулаком в стены, дубасить в дверь черного хода палкой от швабры, стучаться в окна, названивать по телефону, просовывать под дверь свою визитную карточку – чем черт не шутит?»

Мистер Уидмер повернулся на бок.

А она-то отзовется? – гадал он. Удостоит ли его своим вниманием, сделает ли шаг навстречу? Или так и останется в доме без лестницы, с заколоченным крыльцом: будет расхаживать к дверям и обратно, притворяясь, будто не слышит, как он стучится и зовет ее по имени?

Бакалейщик перевернулся на другой бок.

Неужели мы, как всегда, увидим ее только в мае? Хватит ли у него терпения... полгода стучаться, повторять ее имя и ждать?

Выбравшись из постели, мистер Уидмер подошел к окну. На зеленой лужайке, прислонясь к цоколю большого темного особняка, возле крыльца без ступенек маячил все тот же старик. Почудилось ли это, или он действительно звал ее по имени, стоя под раскрашенными осенью деревьями, под неосвещенными окнами?

* * *

С утра пораньше мистер Уидмер оглядел из окна лужайку мисс Бидвелл.

Там никого не было.

– Видно, померещилось, – пробормотал мистер Уидмер. – Значит, беседовал я с фонарным столбом. Это мне яблочный сок ударил в голову – забродил, не иначе.

Было семь утра. Миссис Терл и миссис Адамс зашли в непрогретую лавку за беконом, яйцами и молоком. Мистер Уидмер осторожно коснулся щекотливой темы:

– Скажите, вы вчера вечером никого не заметили у дома мисс Бидвелл?

– Разве там кто-то был? – удивились покупательницы.

– Мне показалось, я кого-то видел.

– Я лично никого не видела, – сказали обе.

– Это все яблоко, – пробормотал мистер Уидмер. – Чистый сидр.

Дверь хлопнула, и мистер Уидмер совсем сник. Никто ничего не видел; не иначе как это было наваждение, ведь он слишком долго примерял на себя чужую жизнь.

Улицы были еще пусты, но городок мало-помалу стряхивал сон. Багровый шар солнца занимался прямо над часами на башне суда. Мир укрылся прохладным покровом росы. Роса тронула все травинки, все кирпичи мостовой, каплями падала с вязов и кленов, с оголенных яблонь.

Мистер Уидмер медленно и осторожно перешел безлюдную улицу и остановился на тротуаре. Перед ним раскинулась лужайка мисс Бидвелл, словно необъятное зеленое море выпавшей за ночь росы. И опять у мистера Уидмера тревожно застучало сердце. Потому что среди росы отчетливо виднелись бесчисленные следы – вокруг дома, под окнами, возле кустов, у дверей. Следы на искрящейся траве, следы, которые таяли по мере того, как всходило солнце.

День тянулся медленно. У себя в лавке мистер Уидмер старался держаться поближе к окнам, но так ничего не заметил. На закате он присел под навесом и закурил.

Видно, старик ушел и больше не появится. Она не откликнулась. Я ее знаю – гордая старуха. Говорят, чем дряхлей, тем больше гордыни. Не иначе как он опять уехал на поезде. Ну почему я не спросил, как его зовут? Почему вместе с ним не постучался в дверь?

Но факт оставался фактом: не спросил, не постучался – потому и чувствовал себя виновником трагедии, которая уже не укладывалась у него в голове.

Нет, он больше не вернется. И так промучился ночь напролет у нее под окнами. Ушел, похоже, перед самым рассветом. Следы-то совсем свежие.

Восемь часов. Половина девятого. Никаких перемен. Девять.

Половина десятого. Никаких перемен. Мистер Уидмер допоздна не закрывал магазин, хотя покупателей не было.

После одиннадцати он присел к окну своей квартирки на втором этаже – не то чтобы специально шпионил, но и не ложился спать.

В половине двенадцатого, когда негромко пробили часы, все тот же незнакомец прошел по улице и остановился у дома мисс Бидвелл.

«Ясное дело! – воскликнул про себя мистер Уидмер. – Боится, как бы его не увидели. Днем небось отсыпался, отсиживался в укромном месте. Что люди-то подумают? Надо же, так и кружит возле ее дома».

Мистер Уидмер прислушался.

И опять услышал все тот же голос. Как стрекот запоздалого сверчка, как последний шелест последнего дубового листа. У парадного крыльца, у черного хода, под окнами. О, завтра, когда взойдет солнце, на лужайке будет миллион неспешных следов.

А она-то *слышит*?

«Энн, Энн, прошу тебя, Энн!» Кажется, именно это он и твердил? «Энн, ты меня слышишь, Энн?» Разве не так молит припозднившийся гуляка?

Тут мистера Уидмера словно подбросило.

* * *

А вдруг она ничего *не слышала*? Кто поручится, что она не оглохла? Семьдесят лет жизни – достаточный срок, чтобы уши затянуло паутиной; кое у кого серая вата времени постепенно поглощает все звуки, обрекая человека на ватно-шерстяную тишину. Долгих тридцать лет с ней никто не разговаривал, а прохожие открывали рты только для того, чтобы поздороваться. Что, если она оглохла и лежит, всеми забытая, в холодной постели, как маленькая девочка, заигравшаяся в долгую игру, даже не подозревая, что кто-то стучится в дребезжащие окна, кличет ее из-за облупившейся двери, ступает по мягкой траве вокруг запертого дома? Возможно, это немощь, а не гордыня помешала ей ответить!

Мистер Уидмер пробрался в гостиную и потихоньку снял телефонную трубку, а сам краем глаза следил за дверью в спальню – не хотел будить жену. Услышав голос телефонистки, он попросил:

- Хелен? Соедините меня с номером семьсот двадцать девять.
- Это вы, мистер Уидмер? Поздновато звонить по этому номеру.
- Ничего страшного.

– Как знаете, только она не подойдет. Никогда не отвечает на звонки. И сама на моей памяти никому не звонила.

Раздались длинные гудки. Их было уже шесть, но все напрасно.

– Продолжайте дозваниваться, Хелен.

Пропело еще двенадцать гудков. По лицу бакалейщика струился пот. На другом конце провода сняли трубку.

– Мисс Бидвелл! – закричал мистер Уидмер, чуть не упав в обморок от облегчения. – Мисс Бидвелл? – Он понизил голос. – С вами говорит мистер Уидмер, хозяин бакалейной лавки.

Ответа не последовало. Тем не менее на другом конце провода, в доме напротив, она держала трубку. В окно ему было видно, что ее дом погружен в темноту. Она подошла к телефону на ощупь.

– Мисс Бидвелл, вы меня слышите? – спросил он.

Молчание.

– Мисс Бидвелл, у меня к вам просьба.

Щелк.

– Не могли бы вы открыть дверь и выглянуть на улицу? – проговорил он.

– Она дала отбой, – сообщила Хелен. – Соединить заново?

– Нет, благодарю. – Он повесил трубку.

Ни в лучах рассвета, ни в теплый полуденный час, ни с наступлением сумерек из ее дома не донеслось ни звука. Через дорогу, в бакалейном магазинчике, стоял за прилавком мистер Уидмер, который твердил про себя: ну и дура! Что бы там между ними ни произошло – просто дура. Но все равно: еще не поздно. Пусть руки стали дряблыми и морщинистыми – это все же руки. Ее старый знакомец, проделавший далекий путь, остался, судя по виду, неприкаянным. Некоторые сознательно выбирают такую судьбу: они, как безумные, жаждут, чтобы вид за окном менялся каждую неделю, каждый месяц, каждый год, но с возрастом начинают сознавать, что всего лишь коллекционируют никчемные дороги и ненужные города, не более основательные, чем киношные декорации, и провожают глазами людей-манекенов, которые мелькают в витринах за окном медленного ночного поезда. Этот старик прожил жизнь среди тех, кому был безразличен, ведь он никогда и нигде не задерживался настолько, чтобы хоть кто-то обеспокоился, проснется ли он на рассвете или уже обратился в прах. Но вот он вспомнил «нее» и только тогда понял, что она среди них – единственная живая душа. Опоздав совсем чуть-чуть, он все же вскочил в последний вагон, сошел на нужной станции, дошагал сюда пешком и оказался у нее на лужайке, чувствуя себя последним идиотом; еще одна

такая ночь – и он больше не вернется.

Это была третья ночь. Мистер Уидмер уже надумал перейти через дорогу, устроить пожар на крыльце дома мисс Бидвелл и вызвать пожарных. Тогда она точно выскочит на улицу, прямо в объятия к своему старичку, ей-богу!

Хотя... Так, стоп!

Мистер Уидмер поднял глаза к потолку. Наверху, на чердаке, – разве там не найдется средства против гордыни и времени? Нет ли там, в пыли, какого-нибудь наступательного оружия, подходящего к случаю? Чего-нибудь старого, как они сами – мистер Уидмер, старик и старушка? Когда на чердаке в последний раз была уборка? Никогда.

Нет, это уж чересчур. Ему не хватит решимости!

И все же это была последняя ночь. Оружие требовалось прямо сейчас.

Минут через десять раздался голос жены:

– Том, Том! Что за грохот? С чего это тебя на чердак понесло?

* * *

Старик появился в половине двенадцатого. Остановившись неподалеку от дома, лишенного ступенек, он как будто раздумывал, что бы еще предпринять, а потом быстро шагнул вперед и посмотрел под ноги.

Мистер Уидмер, замерев у верхнего окна, шептал:

– Ну давай, давай!

Старик нагнулся.

– Бери же! – выкрикнул мистер Уидмер.

Старик запустил руки в траву.

– Обмахни! Знаю, знаю, она вся в пыли. Но еще сгодится. Смахни пыль, играй!

Старик поднял с земли гитару, которую обнаружил при свете луны прямо посреди лужайки. Прошло немало времени, прежде чем он начал перебирать струны.

– Не тяни! – прошептал мистер Уидмер.

Прозвучал первый робкий аккорд.

– Давай! – молил мистер Уидмер. – Чего не добился голос, того добьется музыка. Вот так! Играй! Отлично, не останавливайся! – заклинал мистер Уидмер.

А сам думал: пой под окнами, пой под яблонями, пой у черного хода, пока гитарные аккорды не проберут ее до костей, пока у нее не польются

слезы. Заставишь женщину плакать – считай, ты победил. Всю ее гордыню как рукой снимет, и музыка тебе в этом поможет. Пой ей песни, спой «Женевьеву», спой «Встретимся вечером в сонной стране», потом «Мы плывем по лунному заливу», потом «Длинную тропинку», припомни все старые летние песни, любые знакомые, негромкие, милые песни, пой мягко и тихо, легко перебирая струны, пой, играй, и, возможно, услышишь, как в замке поворачивается ключ!

Он прислушался.

Звуки гитары были чистыми и нежными, как ночные капельки росы, а через полчаса старик стал напевать, но так тихо, что никто его не слышал, кроме той, что была рядом, за стеной, в кровати, а может, у темного окна.

Мистер Уидмер улегся в постель и битый час лежал без движения, слушая далекую гитару.

* * *

Наутро миссис Терл сказала:

– Видела я этого бродягу.

– Неужели?

– Всю ночь на лужайке топтался. Бренчал на гитаре. Можете себе представить? До чего доводит старческий маразм! А кстати, кто он такой?

– Понятия не имею, – ответил мистер Уидмер.

– В шесть утра он двинулся со своей гитарой вдоль по улице, – сказала миссис Терл.

– Вот как? И не возвращался?

– Нет.

– Дверь-то ему так и не открыли?

– Конечно нет. А с какой стати?

– Да так. Вот увидите, он к ночи опять явится.

Покупательница ушла.

Сегодня все решится, думал мистер Уидмер. Еще одна ночь. Он теперь не отступит. Теперь, когда у него есть гитара, он непременно сделает еще одну попытку, и сегодня к ночи все уладится. Мистер Уидмер, насвистывая, хлопотал у себя в магазинчике.

У тротуара притормозил фургон; из кабины вылез Фрэнк Хендерсон, держа в руках пилу и ящик со столярными инструментами. Он обошел фургон и выгрузил из кузова десятка два свежих, смолистых, ароматных досок.

– Здорово, Фрэнк, – окликнул его мистер Уидмер. – Как успехи в плотницком деле?

– Сегодня пофартило, – ответил Фрэнк, сортируя ровные желтые доски и блестящие стальные гвозди. – Заказ получил.

– Где?

– У мисс Бидвелл.

– Это правда? – У мистера Уидмера привычно заколотилось сердце.

– А то как же! Час назад позвонила. Желает, чтобы я новые ступеньки к парадному крыльцу приладил. Прямо сегодня.

Мистер Уидмер прирос к месту, глядя на руки плотника, на молотки и гвозди, на добрый, свежий, качественный тес. Солнце поднималось все выше, день выдался погожий.

– Понятно, – сказал мистер Уидмер, взваливая на плечо пару досок. – Давай-ка подсоблю.

Они перешли через мостовую и зашагали бок о бок по зеленой лужайке к дому мисс Бидвелл, неся с собой доски, пилу и гвозди.

Хлеб из прежних времен

1951

Поздним вечером, возвращаясь из кино, мистер и миссис Уэллс зашли в небольшой магазинчик, который облюбовали за тихое кафе с горячей выпечкой. Они сели за отгороженный столик, и миссис Уэллс сделала заказ:

– Бутерброд с запеченным окороком на пеклеванном хлебе.

Мистер Уэллс взглянул на прилавок: там лежала темная буханка.

– Надо же, – пробормотал он, – хлеб из прежних времен... озеро Дрюс...

Вечерний сеанс, поздний час, безлюдное кафе – привычный ход вещей. От любой мелочи на него накатывали волны памяти. Запах осенних листьев или порывы ночного ветра могли разбедить душу и вызвать поток воспоминаний. Теперь, в этот призрачный час, после кино, в пустом магазинчике он увидел буханку ржаного хлеба и, как бывало уже тысячи раз, перенесся в прошлое.

– Озеро Дрюс, – повторил он.

– Что? – подняла на него глаза жена.

– Полузабытая история, – выговорил мистер Уэллс. – В тысяча девятьсот десятом, когда мне было двадцать лет, я пригвоздил такой вот пеклеванный хлеб к стенке комода, прямо над зеркалом...

На твердой глянцевой корочке этого карава были вырезаны имена всех парней, приехавших на озеро Дрюс: Том, Ник, Билл, Алек, Пол, Джек. В тот раз пикник удался на славу! Они даже успели загореть, пока с грохотом неслись по пыльным дорогам. А дороги в ту пору и впрямь были пыльными: за машиной вздымались клубы бурой присыпки. И добраться до озера было вдвойне приятней, чем годы спустя, когда появилась возможность выходить из машины безупречно чистым и невзломаченным.

– Тогда мы в последний раз собрались нашей компашкой, – сказал мистер Уэллс.

Потом люди разбегаются – колледж, работа, женитьба. В скором времени оказывается, что и компания у тебя нынче совсем другая. Но прежней легкости и бесшабашности не будет больше никогда.

– Я вот о чем подумал, – сказал мистер Уэллс. – Сдается мне, мы уже тогда понимали, что эта наша вылазка, скорее всего, будет последней. Такая тоска впервые накатывает после школьного выпускного. Правда, в скором

времени убеждаешься, что приятели никуда не делись и можно жить спокойно. А где-то через год начинаешь понимать, что твой мир меняется. И возникает желание напоследок что-нибудь отчебучить, пока не поздно. Друзья еще не разбежались, приехали домой на каникулы, все холостые – сам бог велел прокатиться с ветерком и окунуться в прохладное озеро.

Мистер Уэллс помнил то особенное летнее утро, когда он взял отцовский «форд»: они с Томом лежали под машиной и, вытянув руки вверх, чинили то одно, то другое, а сами трепались о технике, о женщинах и о планах на будущее. Потом стало жарко. Том не вытерпел и сказал:

– Надо бы на озеро сгонять.

Только и всего.

А вот поди ж ты: по прошествии сорока лет помнятся все подробности – как заезжали за приятелями, как с воплями мчались под зелеными кронами деревьев.

– Вот вам! – хохотал Алек, стучая каждого по темени буханкой ржаного хлеба. – Это про запас, если сэндвичей не хватит.

Сэндвичи лежали в корзине – их приготовил Ник, не пожалев чеснока; потом, когда закрутились романы с девушками, тяга к чесноку пошла на убыль.

Втиснувшись по трое на переднее и заднее сиденья и обняв друг друга за плечи, они помчались по раскаленным, пыльным проселочным дорогам; в жестяном тазу постукивал кусок льда, прихваченный для охлаждения пива, которое предполагалось купить по пути.

Чем же был примечателен тот день, если сорок лет спустя он вспомнился столь живо, ярко и выпукло? Возможно, каждый из приятелей задавался тем же вопросом. За несколько дней до пикника он нашел сделанную четверть века назад фотографию своего отца в окружении университетских однокашников. Этот снимок чем-то его зацепил – обострил до предела чувство быстротечности времени, напомнил, как стремительно уносятся назад годы юности. А ведь сделай он тогда свою собственную фотографию – и четверть века спустя его дети не поверили бы своим глазам: надо же, такой молодой, незнакомец из незнакомого, безвозвратного времени.

Возможно, потому они и отправились на тот прощальный пикник – каждый подозревал, что по прошествии времени они, завидев друг друга, станут переходить на другую сторону улицы, а если столкнутся нос к носу, то будут говорить: «Надо бы нам как-нибудь собраться!» – вовсе не имея этого в виду. А может, причина крылась в другом, только мистеру Уэллсу сейчас вспомнилось, какой стоял плеск, когда они ныряли с пирса под

желтым солнцем. А потом было пиво с бутербродами в тени деревьев.

«Пеклеванный хлеб так и остался нетронутым, – вспомнил мистер Уэллс. – Забавно: будь мы чуть голоднее, нарежали бы его ломтями, и эта буханка на прилавке не пробудила бы никаких мыслей».

Растянувшись под деревьями в какой-то золотистой истоме, рожденной из пива, солнца и мужской солидарности, они дали зарок встретиться через десять лет у здания суда в первый день нового, тысяча девятьсот двадцатого года, чтобы посмотреть, как у них сложится жизнь. Беззлобно подкалывая друг друга, они вырезали на буханке свои имена.

– А на обратном пути, – сказал вслух мистер Уэллс, – мы распевали «Мунлайт-Бэй».

Он вспомнил, как они мчались сквозь жаркую, сухую тьму и вода с их плавок стекала на тряский дощатый пол автомобиля. Ехали окольными дорогами, просто от балды – и это было самой веской причиной.

– Спокойной ночи.

– Пока.

– Ну давай.

Домой Уэллс добрался уже за полночь и тут же рухнул в постель.

А утром насадил ту буханку пеклеванного хлеба на гвоздь, вбитый в комод.

– Я чуть не заплакал, когда через два года приехал из колледжа и узнал, что мать выбросила ее в мусоросжигатель.

– А в двадцатом-то году что было? – напомнила жена. – В Новый год?

– Да ничего особенного, – ответил мистер Уэллс. – В полдень я случайно оказался около здания суда. Шел снег. Раздался бой часов. Мать честная, подумал я, мы ведь условились встретиться на этом месте именно сегодня! Подождал пять минут. Не прямо перед зданием суда, нет. Перешел на другую сторону. – Он помолчал. – Никто не появился.

Он встал из-за стола и оплатил счет.

– И еще, пожалуйста, вот тот ненарезанный хлеб из муки грубого помола, – добавил он.

Когда они с женой шли домой, он заговорил:

– У меня возникла сумасшедшая мысль. Я часто думаю, что стало с нашими парнями.

– Ник все еще в городе, открыл свое кафе.

– А остальные? – Раскрасневшись, мистер Уэллс заулыбался и стал размахивать руками. – Разъехались кто куда. Том, видимо, в Цинциннати. – Он покосился на жену. – Пошлю-ка я ему этот хлеб, просто от балды!

– Но ведь...

– Решено! – засмеялся он и ускорил шаг, похлопывая ладонью по буханке. – Пусть вырежет на корочке свое имя и перешлет всем нашим по кругу, если знает их адреса. А под конец – мне, с автографами!

– Послушай, – сказала она, взяв его под руку, – зачем себя расстраивать? Ты уже много раз проделывал нечто похожее, да только...

Он не слушал. «Почему такие идеи не приходят в голову днем? – размышлял он. – Почему они всегда лезут в голову после захода солнца? С утра первым делом, ей-богу, – думал он, – отправлю этот хлеб Тому, а он перешлет дальше. И точно такая же буханка, какую выбросили и сожгли, вернется ко мне! Чем плохо?»

– Посмотрим, – сказал он, когда жена отперла входную дверь, затянутую сеткой, и впустила его в душный дом, встретивший их молчанием и теплой пустотой. – Посмотрим. Мы еще распевали «Плыви, плыви, челнок, плыви», как сейчас помню.

* * *

Утром он спустился по лестнице в холл, залитый прямыми лучами солнца, и на мгновение застыл, побритый, пахнувший свежестью зубной пасты. Солнце било во все окна. Он заглянул в столовую, где уже был подан завтрак.

Там хозяйничала жена. Она неторопливо и размеренно нарезала пеклеванный хлеб.

Сев к столу, освещенному солнцем, он потянулся за газетой.

Жена взяла только что отрезанный ломтик хлеба и чмокнула мужа в щеку. Он погладил ее по руке.

– Тебе один или два тоста, дорогой? – заботливо спросила она.

– Пожалуй, два, – ответил он.

Крик из-под земли

1951

Меня зовут Маргарет Лири. Мне десять лет, учусь в пятом классе. Ни братьев, ни сестер у меня нет. Зато родители хорошие, только со мной совсем не занимаются. Мы и представить не могли, что нам придется разбираться с убийством одной женщины. Ну, близко к тому.

Когда живешь на такой улице, как наша, даже в голову не приходит, что может произойти какой-нибудь страшный случай: что стрельба начнется или человека ножом пырнут или закопают живьем чуть ли не у тебя во дворе! А когда что-нибудь такое приключается, просто отказываешься верить. Как ни в чем не бывало делаешь себе бутерброд или печешь пироги.

Сейчас расскажу, как все случилось. Дело было в июле, в самую жару, вот мама и говорит:

– Маргарет, сбегай-ка за мороженым. Сегодня суббота, папа будет обедать дома, надо его побаловать.

Побежала я через пустырь – это прямо за нашим домом. Пустырь огромный. Мальчишки там всегда в бейсбол играли, хотя под ногами полно битого стекла и всякого мусора. Иду я, значит, домой с мороженым, никого не трогаю – тут-то все и началось.

Слышу – женский голос кричит. Я постояла, прислушалась.

Голос шел из-под земли.

Действительно, кричала какая-то женщина, которую засыпали слоем стекла, камней и мусора, – жутко так кричала, с надрывом, просила, чтобы ее откопали.

Перепугалась я до смерти. А она все кричит, глухо так.

Тут я как припустила! Упала, вскочила – и дальше бегу.

Кое-как добралась до дому; там мама – хлопчет себе на кухне и не знает самого главного: что у нас, чуть ли не за домом, какую-то тетеньку живьем закопали и она теперь зовет на помощь.

– Мам! – кричу.

– Не стой, мороженое растает, – говорит мама.

– Да ты послушай, мама! – говорю.

– Неси в холодильник, – велела мама.

– Слушай, мам, у нас на пустыре женщина кричит.

– И руки вымой, – сказала мама.

– Она так кричит, так кричит...

– Не забыть бы соль и перец. – Мама уже куда-то отошла.

– Ты меня не слушаешь! – выкрикнула я. – Нужно ее спасти. Она придавлена тоннами мусора, и, если мы ее не откопаем, она задохнется и умрет.

– Ничего, пусть подождет, пока мы пообедаем, – ответила мама.

– Мам, ты что, не веришь мне?

– Верю, доченька, верю. А теперь вымой руки и отнеси папе вот это блюдо с мясом.

– Не представляю, кто она такая и как туда попала, – говорю я. – Но мы должны ее спасти, пока не поздно.

– Боже мой! – ужаснулась мама. – Что с мороженым? Что ты с ним сделала – оставила на солнцепеке, чтобы оно растаяло?

– Говорю же тебе, на пустыре...

– Ну-ка, брысь отсюда!

Я побежала в столовую.

– Привет, пап, там на пустыре какая-то женщина кричит...

– Все женщины кричать здоровы, – отозвался папа.

– Я правду говорю.

– Да, вид у тебя серьезный, – заметил папа.

– Надо взять кирку и лопату и раскопать ее, как египетскую мумию, – говорю я ему.

– Археолог из меня сегодня никакой, Маргарет, – ответил папа. – Давай вернемся к этому в октябре, по холодку, только ты мне напомни.

– Надо сейчас!

Я и сама перешла на крик. Думала, у меня разрыв сердца будет. Я и распереживалась, и страху натерпелась, а папа знай подкладывает себе мяса, отрезает кусочки да в рот отправляет, а на меня ноль внимания.

– Пап, – зову его.

– Ммм? – отвечает он, а сам все жует.

– Пап, доедай – и сразу выходим, мне одной не справиться. – От меня так просто не отделаешься. – Папа, пап, я тебе за это все деньги отдам из копилки!

– Так-так, – говорит папа, – у нас, как я понимаю, намечается крупная сделка? Не зря же ты мне предлагаешь все свое честно нажитое состояние. На какую ставку я могу рассчитывать?

– У меня целых пять долларов – весь год копила, вот на них и рассчитывай.

Папа взял меня за локоть.

– Я тронут. Глубоко тронут. Ты хочешь, чтобы я с тобой поиграл, и даже готова оплатить мое время. Честно скажу, Маргарет, пристыдила ты старика отца. Мало я с тобой занимаюсь. А знаешь что, после обеда сразу и отправимся – послушаю, так и быть, твою крикунью и денег за это не возьму.

– Честно? Ты правда пойдешь?

– Так точно, мэм, сказано – сделано, – подтвердил папа. – Но и с тебя возьму обещание.

– Какое?

– Если хочешь, чтобы мы пошли вместе, ты должна как следует покушать.

– Обещаю. – Пришлось согласиться.

– Договорились.

Тут вошла мама, села за стол, и мы с ней тоже принялись за еду.

– Не торопись! – одернула мама.

Я чуть помедлила, а потом снова начала давиться.

– Ты слышала, что сказала мама? – спросил папа.

– Там женщина кричит, – не выдержала я. – Давай скорее!

– Лично я, – начал папа, – намереваюсь пообедать в тишине и покое, чтобы как следует распробовать бифштекс, картофель, непременно салат и мороженое, а под конец, с твоего позволения, бокал кофе глясе. Это займет никак не менее часа. И заруби себе на носу, юная леди: если за обедом будет сказано еще хоть слово про эту крикунью, я вообще не сдвинусь с места ради удовольствия послушать ее концерт.

– Да, сэр.

– Ты все поняла?

– Да, сэр...

Обед растянулся на века. Все двигались еле-еле, как в замедленном кино. Мама медленно вставала и медленно садилась; вилки, ложки и ножи плавали медленно. Даже мухи летали медленно. Папа еле жевал. Все застопорилось. Мне так и хотелось заорать: «Скорее! Ну пожалуйста, поторопись, вставай, быстро собирайся, бежим, бежим!»

Но нет, я сидела смирно, и, пока мы ели – в час по чайной ложке, – где-то в отдалении (у меня в ушах не смолкал этот крик: А-а-а-а) кричала женщина, брошенная всеми, а люди спокойно обедали, в небе светило солнышко, и на пустыре не было ни души.

– Ну, вот и все. – Наконец-то папа насытился.

– Можно, я теперь покажу, где кричит эта женщина? – спрашиваю.

– Мне добавку кофе глясе, – попросил папа.

– К слову, о тех, кто кричит, – вмешалась мама. – Вчера вечером у Чарли Несбитта и его жены Хелен был очередной скандал.

– Тоже мне, новость! – сказал папа. – У них что ни день – скандалы.

– Я считаю, у Чарли скверный характер, – сказала мама. – Да и жена не подарок.

– Ну, не знаю, – протянул папа. – Мне кажется, она вполне ничего.

– Не тебе судить. Ведь ты едва на ней не женился.

– Опять ты за свое? – не выдержал папа. – Всего-то и были помолвлены полтора месяца.

– Слава богу, хватило ума разорвать помолвку.

– Ты же знаешь Хелен. Она всегда была склонна к театральным эффектам. Надумала, чтобы ее заперли в сундуке и сдали в багаж. У меня прямо волосы дыбом встали. На том все и кончилось. А вообще она славная была. Милая, добрая.

– Ну и чего она добилась? Вышла замуж за такое чудовище.

– Пап! – встряла я.

– Что правда, то правда. Нрав у Чарли крутой, – продолжал папа. – Помнишь, Хелен играла главную роль в школьном выпускном спектакле? Хороша была, как картинка. И даже сама пару песен для этого спектакля сочинила. В то лето она и мне посвятила песню.

– Ха! – фыркнула мама.

– Не смейся. Песня была хорошая.

– Ты мне никогда не рассказывал.

– Это было только между нами. Как же там пелось?

– Пап! – сказала я.

– Отправляйся-ка ты с дочкой на пустырь, пока до греха не дошло, – сказала мама. – А уж потом споешь мне эту дивную песню.

– Ладно, будем собираться, – сказал папа, и я потащила его на улицу.

В такую жару на пустырь никто не выходил, и только зеленые, коричневые и бесцветные осколки бутылочного стекла пускали солнечных зайчиков.

– Показывай, где твоя крикунья, – засмеялся папа.

– Лопаты забыли, – спохватилась я.

– Успеется. Для начала послушаем сольный концерт, – сказал папа.

Подвела я его к тому самому месту.

– Вот здесь, – говорю, – слушай.

Стали мы прислушиваться.

– Ничего не слышу, хоть убей, – сказал папа.

– Шшш! – говорю ему. – Надо подождать.

Подождали.

– Эй, вы! Кто кричал? – Я уже и сама стала кричать.

Мы слышали, как светит солнце. Слышали, как ветер шевелит листву – вообще неслышно. Потом автобус проехал.

И больше ничего.

– Маргарет, – сказал папа, – советую тебе вернуться домой, лечь в постель и обвязать голову мокрым полотенцем.

– Но она была здесь, – не вытерпела я. – Вот именно на этом месте я ее слышала! Она прямо выла, выла, выла. Смотри, тут даже земля вскопана.

Я нагнулась – и во все горло:

– Эй, вы, там, внизу!

– Маргарет, – остановил меня папа, – вчера мистер Келли выкопал здесь большую яму, чтобы сбрасывать туда мусор и всякий хлам.

– А ночью, – объясняю ему, – кто-то другой этим воспользовался и сбросил туда женщину. А сверху забросал землей, как будто так и было.

– Пойду-ка я домой приму холодный душ, – решил папа.

– А как же твое обещание?

– На таком солнцепеке работать вредно, – отговорился папа. – Жарища-то какая.

И ушел домой. Мне было слышно, как хлопнула дверь черного хода.

Я даже ногами затопала.

– Вот черт! – вырвалось у меня.

И тут снова раздался крик.

Она кричала и кричала. Может, она была связана по рукам и ногам и не сумела высвободиться, а теперь собралась с силами и опять стала звать на помощь, а что я могла сделать в одиночку?

Солнце палит, а я стою на пустыре и чуть не плачу. Потом все-таки помчалась к дому и забарабанила в дверь.

– Папа, она снова кричит!

– Конечно, конечно, – сказал папа. – Пойдем-ка. – И стал подталкивать меня наверх. – Вот так-то лучше. – Заставил меня лечь в постель и положил мне на лоб полотенце, смоченное холодной водой. – Тебе надо отдохнуть.

Тут я разревелась.

– Пап, она же умрет, и мы будем виноваты. Ее закопали живьем, как в рассказе Эдгара По. Только представь, какой это ужас: ты кричишь, а людям и дела нет.

– На улицу сегодня ни ногой. – Папа опасался за мое здоровье. – До вечера полежишь в постели. – С этими словами он вышел из моей спальни и запер меня на ключ.

Из гостиной доносился их с мамой разговор. Слезы у меня скоро высохли. Выбралась я из постели и на цыпочках подкралась к окну. Моя комната – на втором этаже. Высоковато. Пришлось сдернуть с кровати простыню, привязать за один угол к ножке кровати и свесить из окна. Потом я влезла на подоконник и благополучно съехала по этой простыне на землю.

Добежала я тайком до сарая, прихватила пару лопат и понеслась на пустырь. А духотища жуткая, как никогда. Стала я копать: копаю-копаю, а голос из-под земли все не смолкает...

С меня семь потов сошло. Вонзаешь лопату, а там сплошь камни да стекла. Я боялась, что провожусь до темноты и все равно не успею.

А что было делать? Бежать за подмогой? И что сказать людям? Они ведь все рассуждают, как мои предки. Нет, надо было копать, сколько хватит сил, и рассчитывать только на себя.

Минут через десять на пустыре появился Диппи Смит. Мы с ним одноклассники, вместе в школу бегаем.

– Здорово, Маргарет! – говорит.

– А, Диппи. – Это я на выдохе.

– Чем занимаешься? – спрашивает.

– Копаю.

– Что ищешь?

– Тут из-под земли тетка кричит, надо ее откопать. – Так ему и сказала.

– Не слышу никакой тетки, – сказал Диппи.

– Ты посиди да обожди чуток – и услышишь. А еще лучше помоги.

– И не подумаю, – говорит, – пока не услышу крик.

Мы немного выждали.

– Слыхал? – завопила я. – Теперь доволен?

– Ага! – Хоть и не сразу, Диппи меня зауважал, даже глаза заблестели. – Нормально! Повтори-ка!

– Что повторить?

– Крик такой.

– Надо выждать. – Я даже растерялась.

– Нет, прямо сейчас! – Вот пристал, даже вцепился мне в плечо и начал трясти. – Давай, не тяни резину. – Порылся он в кармане и выудил небольшой агатовый шарик. – Гляди! – Он сунул шарик мне в руку. – Если завоюешь, как тогда, – подарю.

Из-под земли раздался протяжный крик.

– Ну, ты даешь! – говорит Диппи. – Покажи, как это у тебя получается! – А сам так и ходит кругами, как будто диковинку

разглядывает.

– У меня не... – заговорила я.

– Небось прикупила эту книжечку, «Говори не своим голосом». – Диппи продолжал строить догадки. – Десять центов стоит, ее из Техаса выписывают, в Далласе специальный магазин есть. Точно? У тебя во рту спрятана такая хитрая фиговинка чревовещательная, да?

– Типа того. – Пришлось соврать, чтобы он не слинял раньше времени. – Ты мне помоги, а я тебе по секрету скажу, в чем тут фокус.

– Лады, – согласился Диппи. – Давай сюда лопату.

Теперь мы копали вдвоем, а женщина время от времени начинала звать на помощь.

– Круто, – поражался Диппи. – Можно подумать, она у нас под ногами. Мэгги, у тебя талант! – А потом спрашивает: – Как ее зовут-то?

– Кого?

– Да «крикливую» эту! Зуб даю, ты для такого фокуса целую историю придумала.

– А как же! – Пришлось соображать на ходу. – Зовут ее Вилма Швайгер, богатая старуха, девяносто шесть лет, и ее заживо похоронил злодей по фамилии Спайк, он фальшивомонетчик, подделывает десятидолларовые бумажки.

– Круто, – сказал Диппи.

– В этой же яме закопан клад, а я... я – расхитительница гробниц, хочу и старушке жизнь спасти, и клад себе забрать. – Мне уже стало невозможно лопатой махать.

Диппи сощурился, как китаец, и напустил на себя таинственный вид.

– Может, и мне стать расхитителем гробниц? – Но у него тут же появилась идея получше. – Давай, как будто там лежит принцесса Омманатра, египетская правительница, вся усыпанная бриллиантами!

Мы все копали, копали, и я подумала: а ведь мы ее спасем, непременно успеем. Если только не останавливаться!

– Послушай, я кое-что придумал, – сказал Диппи.

Тут его как ветром сдуло; возвращается с куском картона и начинает выводить мелком какие-то каракули.

– Ты не отлынивай! – возмутилась я. – Работай давай!

– Хочу вывеску сделать. Вот, гляди: «Кладбище “Вечный сон”»! Будем тут хоронить птичек, жуков разных. А чего: уложить в спичечный коробок – и нормально. Пойду бабочек наловлю.

– Сейчас не время, Диппи!

– Да я для интереса. Если поискать, можно идохлую кошку найти...

- Бери лопату, Диппи! Прощу тебя!
- Заколебало уже, – говорит. – Устал. Пойду домой, спать охота.
- Никуда ты не уйдешь.
- Почему это?
- Диппи, хочу тебе открыть одну тайну.
- Ну что еще?

И лопату ногой отпихивает.

А я такая, ему на ухо:

- Там *на самом деле* заживо похоронена женщина.
- Ну, похоронена. Ты с самого начала так и говорила, Мэгги.
- А ты не поверил.

– Лучше расскажи, как у тебя получается говорить не своим голосом, – рассказывай, а то уйду.

– Да что рассказывать – я же сама ничего не делаю, – призналась я. – Давай так, Диппи: сейчас я отойду, а ты стой тут и слушай.

Из-под земли снова послышался женский крик.

- Ого! – всполошился Диппи. – Там и вправду тетка закопана!
- Вот и я говорю.
- Копаем дальше, – скомандовал Диппи.

Мы поработали еще минут двадцать.

- Интересно, кто она такая?
- Откуда я знаю?

– Может, это миссис Нельсон, или миссис Тернер, или миссис Брэдли.

Или кто-нибудь посимпатичнее. Интересно, у нее какого цвета волосы? Узнать бы, сколько ей лет – тридцать, девяносто, шестьдесят?

– Копай давай! – прикрикнула я.

У нас уже выросла приличных размеров горка.

– Вот я думаю: нам вознаграждение положено за спасательные работы?

– А то!

- Как считаешь, центов на двадцать пять она раскошелится?
- Раскошелится на доллар, не меньше. Спорим?

Махая лопатой, Диппи стал вспоминать:

– Читал я книжку про магию. Прикинь: один индус разделся догола, залез в какую-то могилу и кантовался там шестьдесят дней: без еды, без газировки, ни жвачки тебе, ни конфет, да еще без воздуха – два месяца.

Вдруг Диппи переменялся в лице.

– Слушай, а вдруг в этой яме транзисторный приемник закопан, а мы тут зря вкалываем?

– Ничего не зря – приемник себе возьмем.

Вдруг над нами нависла чья-то тень.

– Эй, мелюзга, вы что тут безобразничаете?

Мы обернулись. Это был мистер Келли – вообще-то пустырь принадлежит ему.

– Здравствуйте, мистер Келли! – Это мы хором.

– Слушайте меня внимательно, – говорит мистер Келли. – Вы сейчас возьмете свои лопаты и заровняете яму, которую успели выкопать. Кому сказано?

Сердце у меня забилося как бешеное. Я чуть не завывала.

– Мистер Келли, вы не понимаете: оттуда идет женский крик, нужно...

– Знать ничего не знаю. Не слышу никакого крика.

– Да вы прислушайтесь! – Я чуть не разревелась.

Из-под земли – крик.

Мистер Келли прислушался и покачал головой.

– Не слышу. А ну, пошевеливайтесь, засыпайте яму – и марш по домам, пока я вам пинка не дал!

Куда было деваться? Пока мы закидывали яму, мистер Келли стоял у нас над душой, скрестив руки, а женщина все звала на помощь, но мистер Келли притворился, будто ничего не слышит.

Дело было сделано, мистер Келли топнул ногой и прикрикнул:

– Вон отсюда! И чтобы духу вашего здесь больше не было!

Я обернулась к Диппи.

– Это он, – шепчу ему.

– Чего? – не понял Диппи.

– Он убил миссис Келли. Придушил ее, засунул в коробку или в ящик и сбросил в яму. Но она не умерла. Вот он и прикидывался, будто ничего не слышит.

– Ага! – До Диппи наконец-то дошло. – Точняк! Стоял тут и вешал нам лапшу на уши.

– Выход один, – говорю ему. – Надо звонить в полицию, пусть арестуют мистера Келли.

Побежали мы на угол, там в магазине есть телефон.

Не прошло и пяти минут, как в дверь мистера Келли уже барабанили полицейские. А мы с Диппи сидели в кустах и ждали, что будет дальше.

– Вы мистер Келли? – спросил полицейский.

– Да, сэр, чем обязан?

– Ваша жена дома?

– Дома.

– Вы позволите с ней поговорить, сэр?

– Конечно. Анна, иди сюда!

Миссис Келли подошла к дверям и выглянула на улицу.

– Да, сэр?

– Прошу прощения, – извинился офицер. – Миссис Келли, к нам поступил сигнал, что вас зарыли на пустыре. Похоже, звонили дети, но мы должны были убедиться, что у вас все в порядке. Извините за беспокойство.

– Вот гаденыши! – Мистер Келли здорово разозлился. – Поймаю – руки-ноги оторву!

– Шухер! – скомандовал Диппи, и мы дали деру.

– Теперь куда? – спрашиваю.

– Я – домой, – говорит Диппи. – Попали мы. Влетит так, что мало не покажется.

– А как же та тетка?

– Да ну ее к черту! – взъелся Диппи. – Нам на пустырь нельзя. Старик Келли уже бритву точит: выпустит нам кишки – и дело с концом. А я вот что вспомнил, Мэгги. Старикашка-то, кажись, на ухо туговат, глухая тетеря.

– Ничего себе! – Я так и подскочила. – Значит, он и вправду не слышал крика.

– Пока! – буркнул Диппи. – Из-за тебя влипли – тоже мне, чревоушательница нашлась. Ладно, давай.

Я осталась совсем одна в целом мире: никто не хотел мне помогать, никто мне не верил. Впору было залезть в ту же коробку, откуда шел крик, и умереть. Полиция наверняка уже разыскивала меня за ложный вызов, но ведь я не знала, что он ложный; и отец, наверное, уже сбился с ног, если обнаружил, что я сбежала. Оставалось лишь одно... и я решилась.

Стала обходить все дома поблизости от пустыря. Стучу в дверь, мне открывают, и я говорю: «Скажите, пожалуйста, миссис Гризуолд, у вас никто не пропал?» или «Здравствуйте, миссис Пайкс, вы прекрасно выглядите. Хорошо, что вы дома». Вот так: удостоверюсь, что хозяйка жива-здоровая, скажу из вежливости какую-нибудь чушь и двигаюсь дальше. Время-то не ждет. Дело к вечеру. А я все думаю: в коробке воздуха – всего ничего, она же задохнется, надо спешить! Звоню, стучу, почти до самого нашего дома дошла, гляжу – осталась всего одна, *последняя* дверь. Где мистер Чарли Несбитт живет, сосед наш. Стучу, стучу...

Вместо миссис Несбитт (Хелен – так ее мой папа называет) дверь почему-то открыл сам мистер Несбитт, Чарли то есть.

– О, – удивился, – кого я вижу: Маргарет.

– Да, – говорю, – это я. Добрый день.

– Тебе чего, деточка? – спрашивает.

– Мне... это... мне бы с вашей женой повидаться, с миссис Несбитт, – бормочу в ответ.

– Ага, – говорит он.

– Можно?

– Видишь ли, она в магазин пошла, – говорит.

– Ничего, я подожду. – А сама шмыг в дом.

– Эй! – Сказать-то ему больше нечего.

Села я на стул.

– Ох! – говорю. – Ну и жарница сегодня! – Стараюсь не суетиться, а в голове засело: там, под землей, воздуха-то все меньше и меньше и крик все слабее.

– Послушай, деточка. – Чарли подошел поближе. – Наверное, ждать не стоит.

– Да? А почему? – спрашиваю.

– Понимаешь, моя супруга не вернется. – Так и сказал.

– Как это?

– То есть, я хочу сказать, сегодня не вернется. Она действительно пошла в магазин, но после этого... после этого прямиком отправится в гости к своей матушке. Вот именно. Она собирается к маме, в Скенектеди. Вернется денька через два-три, а то и через неделю.

– Какая жалость! – прикинулась я.

– А в чем дело?

– Хотела ей кое-что рассказать.

– Что же?

– Хотела ей рассказать, что на пустыре закопали одну женщину, засыпали тоннами мусора и теперь она кричит из-под земли.

Мистер Несбитт вдруг выпустил из пальцев сигарету.

– Ой, мистер Несбитт, у вас сигарета упала, – говорю ему и показываю носком туфли.

– Разве? Да, верно. – А сам такой: – Хелен вернется – передам ей твой рассказ. Позабавлю ее.

– Вот спасибо. Там правда-правда закопана настоящая женщина.

– А ты откуда знаешь?

– Я слышала голос из-под земли.

– Нет, откуда ты знаешь, что там женщина, а, скажем, не корень мандрагоры?

– А что это?

– Ну, как же, мандрагора. Растение такое, деточка. Оно говорит человеческим голосом. Я точно знаю, сам читал. Так почему ты решила, что это не мандрагора?

– Мне такое и в голову не пришло.

– Очень жаль. – Берет новую сигарету – и хоть бы хны. – Скажи, деточка, ты... э-э-э... ты еще кому-нибудь рассказывала эту историю?

– А как же! Я всем рассказала.

Мистер Несбитт чиркнул спичкой и обжегся.

– И что же: кто-нибудь решил разобраться, что к чему?

– Нет, – отвечаю. – Никто не верит.

А он с улыбочкой:

– Разумеется. Само собой. Ты ведь еще мала. Кто тебя станет слушать?

– Прямо сейчас возьму лопату и пойду на пустырь, – говорю.

– К чему такая спешка?

– Мне пора. – Я как будто его не слышала.

– Посиди со мной. – Вот привязался.

– Нет, спасибо. – Тут я струхнула.

Он взял меня за плечо:

– Ты в карты умеешь играть, деточка? В двадцать одно?

– Да, сэр.

А у него на столе лежала колода карт.

– Давай поиграем.

– Мне нужно идти ее откапывать.

– А куда спешить? – Даже бровью не повел. – К тому же и моя жена, видимо, скоро вернется. Да, не сомневаюсь. Уже скоро. Дождись ее. Посиди немного.

– Думаете, она вернется?

– Непременно, деточка. Расскажи-ка мне, что там за голос. Громкий?

– Нет, он уже слабеет.

Мистер Несбитт вздохнул и заулыбался:

– Ох уж эти детские фантазии! Давай-ка перекинемся с тобой в двадцать одно, это куда интереснее, чем слушать, как женщины кричат.

– Мне пора идти. Поздно уже.

– Не торопись, у тебя же каникулы.

Я поняла, чего он добивается. Хотел подольше задержать меня в своем доме, чтобы та женщина померла и замолчала навеки. Чтобы я уже не смогла ей помочь.

– Минут через десять и жена моя подойдет, – сказал он. – Да. Минут через десять, не позже. Ты ее дождись. Посиди здесь.

Стали мы играть в карты. А часы тикают. Солнце клонится к горизонту. Поздно уже. А у меня из головы не идет крик о помощи, только он становится все слабее и слабее.

– Пойду я, – говорю.

– Сыграем еще, – не отстаёт мистер Несбитт. – Подожди ещё часок, деточка. Может, жена моя ещё передумает и вернется. Ты не спеши.

А сам все на часы поглядывает.

– Что ж, деточка, думаю, теперь ты можешь идти.

Я его живо раскусила. Ночью он проберется на пустырь, откопает свою жену, ещё живую, отвезет куда-нибудь подальше и уж там зароет как следует.

– До свидания, деточка, до свидания.

Он меня отпустил – решил, что к этому времени весь воздух, что был в ящике, наверняка закончился.

Дверь захлопнулась прямо у меня перед носом.

Вернулась я на пустырь и спряталась в кустах. А что мне оставалось? Рассказать маме с папой? Так они и поверили. Донести в полицию на мистера Чарли Несбитта? Но он сказал, что его жена уехала в гости. Кто бы стал меня слушать?

Из моего укрытия хорошо просматривался дом мистера Келли. Хозяина нигде не было видно. Я добежала до того места, откуда шли крики, и замерла. Ни звука. Было так тихо, что я решила – все. Кончено. «Опоздала», – думаю.

Наклонилась я к самой земле, прямо ухом прижалась.

И что я слышу? Очень далеко, глубоко под землей, едва различишь.

Та женщина больше не кричала. Она пела.

Как-то так: «Моя любовь была прекрасна, моя любовь была чиста...»

Грустно так. Слабо-слабо. Бессвязно, что ли. Оно и неудивительно: промучайся столько времени под землей, в ящике – конечно, рассудок помутится. Ей бы воздуха глотнуть да подкрепиться – и все придет в норму. А так – она пела, даже не звала на помощь, не кричала, а просто пела.

Послушала я, послушала.

А потом развернулась – и через пустырь, к дому. Вошла не с черного хода, а через парадную дверь.

– Папа! – зову.

– Явилась! – Прямо рывкнул.

– Папа. – А сама больше ничего выговорить не могу.

– Вот я тебе задам. – Рассердился не на шутку.

– Она больше не кричит.

– Чтобы я о ней больше не слышал!
– Теперь она поет! – выкрикнула я.
– Не выдумывай!
– Пап, – говорю, – она же умрет, если ты мне неверишь. Правда-
правда, она поет, вот как-то так.

Напела ему мотив. Даже слова вспомнила. «Моя любовь была прекрасна, моя любовь была чиста...»

Отец прямо весь побледнел. Подходит ко мне, берет за руку.

– Как-как? – спрашивает.

Я опять:

– «Моя любовь была прекрасна, моя любовь была чиста...»

– Где ты слышала эту песню? – кричит сам не свой.

– Говорю же: на пустыре, вот только что.

– Это же песня Хелен, она ее сочинила давным-давно, специально для меня! – разволновался папа. – Откуда тебе знать? *Никто* ее не знает, только мы с Хелен. Я никогда ее не пел. Ни тебе, ни кому другому.

– Еще бы, – говорю.

– О боже мой! – выкрикнул папа и бросился в сарай за лопатой.

А потом вижу – прибежал на пустырь и копает, а кругом полно народу, и все тоже машут лопатами. От радости у меня чуть слезы не потекли.

Бросилась я к телефону, набрала номер – Диппи сам снял трубку. Я такая:

– Привет, Диппи! Все нормально. Сработало. Криков из-под земли больше не будет.

– Круто, – обрадовался Диппи.

– Встречаемся на пустыре через две минуты – и лопату не забудь, – говорю ему.

– Кто последний – тот козел! Давай! – заорал Диппи.

– Давай, Диппи, – ответила я и выскочила из дому.

Всякое бывает

1951

Весной тысяча девятьсот тридцать четвертого в Центральную школу пришла учительствовать мисс Энн Тейлор. Было ей тогда двадцать четыре года, а Бобу Маркхэму – четырнадцать. Все умы занимала Энн Тейлор. Для этой учительницы дети несли в школу то цветы, то фрукты и без напоминания сворачивали после уроков зеленовато-розовые карты мира. Если она проходила по улицам, то, казалось, как раз в ту пору, когда дубы и вяза отбрасывали кружевную тень, отчего на лице у нее играли солнечные зайчики, а она шла не останавливаясь, и при встрече с нею каждый загадывал что-то свое. Была она как нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного молока к завтраку в душное летнее утро. Выпадали, случалось, редкостные дни, когда мир обретал равновесие, подобно кленовому листу, которому не дают упасть благодатные ветра: такие деньки точь-в-точь были похожи на Энн Тейлор, и в календаре их следовало бы назвать ее именем.

Что же до Боба Маркхэма, октябрьскими вечерами этот паренек слонялся в одиночку по городским улицам, а за ним гнался ворох листьев – ни дать ни взять мышинные полчища в Духов день. Весной движения его замедлялись и весь он становился похож на белую молодь форели, что водится в терпких водах речки Фокс-Хилл; за лето белизна сменялась коричневым отблеском спелых каштанов. Частенько он, валяясь на траве, захлеб читал книжки, даже не замечая муравьев, ползавших по страницам, а то еще играл сам с собой в шахматы на крыльце бабушкиного дома. Приятелей у него не было.

Когда мисс Тейлор пришла вести свой первый урок, Боб учился в девятом классе; никто из учеников не шелохнулся, пока она выводила на доске свое имя аккуратным, округлым почерком.

– Меня зовут Энн Тейлор, – негромко сказала она, – я ваша новая учительница.

Казалось, в классную комнату вдруг хлынул свет, словно чья-то рука сдвинула кровлю. Боб Маркхэм держал наготове пульку из жеваной бумаги. Через полчаса он незаметно уронил пульку на пол.

После уроков он принес в класс ведро воды, взял тряпку и стал протирать доски.

– Что происходит? – Обернувшись, она посмотрела в его сторону из-за

учительского стола, за которым проверяла диктанты.

– Доски грязноваты, – сказал Боб.

– Да, верно. Ты сам решил этим заняться?

– Наверное, полагается разрешения спрашивать, – смущенно выдавил он.

– А мы сделаем вид, будто ты так и поступил, – улыбнулась она в ответ, и от этой улыбки он мигом справился с работой: белые тряпки и губки так и летали у него в руках, и если бы кто заглянул с улицы в открытое окно, то подумал бы, что в классе кружатся хлопья снега. – Дай-ка вспомню, – сказала мисс Тейлор. – Ты ведь Боб Маркхэм, правильно?

– Да, мэм.

– Ну, спасибо тебе, Боб.

– А давайте я каждый день буду доски мыть? – предложил он.

– Тебе не кажется, что все должны дежурить по очереди?

– Да мне не трудно, – сказал он. – После уроков.

– Можно попробовать, а там видно будет, – решила она.

Он медлил.

– Теперь беги домой, – велела она, помолчав.

– До свидания. – Нога за ногу, он поплелся к выходу.

На следующее утро он уже маячил у пансиона, где поселилась мисс Тейлор, в то самое время, когда она выходила из дверей.

– А вот и я, – сказал он.

– Честно говоря, – ответила она, – меня это не удивляет.

Они отправились в школу вместе.

– Давайте я ваши книжки понесу, – предложил он.

– О, спасибо тебе, Боб.

– Не за что, – откликнулся он, принимая у нее книги.

Вот уже несколько минут они шли бок о бок, но он не проронил ни слова. При взгляде на него – искоса и немного сверху – она заметила, что он не только не смущен, но сияет от счастья, и решила дать ему возможность заговорить первым, однако это ни к чему не привело. На подходе к школе он вернул ей книги.

– Наверно, дальше надо поодиночке, – сказал он. – Ребята не так поймут.

– Да я и сама не вполне понимаю, Боб.

– Ну как, у нас дружба, – со значением произнес он.

– Боб... – начала она.

– Да, мэм?

– Ладно, неважно. – И она зашагала вперед.

– Я со звонком приду, – сказал Боб.

Конечно же, он пришел со звонком и каждый день на протяжении двух недель оставался после уроков: не говоря ни слова, тщательно мыл доски, полоскал тряпки и снимал со стены карты, а она тем временем проверяла тетради. До четырех часов между ними висела тишина: в этой тишине солнце клонилось к закату, по-кошачьи сновали тряпки, шуршали тетрадные страницы, поскрипывало перо, а в высокое оконное стекло с натужным жужжанием билась сердитая муха. Иногда молчание затягивалось часов до пяти, покуда мисс Тейлор не замечала, что Боб Маркхэм устроился за последней партой и не сводит с нее глаз.

– Ну, пора домой, – по обыкновению говорила мисс Тейлор, поднимаясь со стула.

– Да, мэм.

И он бросался доставать из шкафа ее пальто и шляпку. Потом брал у нее ключ и сам запирал дверь, если к тому времени еще не появлялся школьный сторож. А дальше они спускались с крыльца и пересекали опустевший школьный двор. О чем только не заходил у них разговор.

– Кем ты хочешь стать, когда вырастешь, Боб?

– Писателем, – отвечал он.

– Да, планы у тебя серьезные. Только это тяжелый труд.

– Знаю, но хотя бы попробовать, – сказал он. – Я ведь много читаю.

– Боб, неужели у тебя нет никаких дел после уроков? Я хочу сказать – это непорядок, что из-за бессменного дежурства ты проводишь столько времени в четырех стенах.

– Мне нравится, – объяснил он. – Я вообще занимаюсь только тем, что мне нравится.

– И все-таки...

– Нет, я уж так решил, – упорствовал Боб.

Немного подумав, он выговорил:

– Мисс Тейлор, можно вас кое о чем попросить?

– Смотря о чем.

– Каждое воскресенье я выхожу на Бьютрик-стрит, иду вдоль ручья и дохожу до озера Мичиган. Там раки водятся, бабочки летают, птицы поют. Если вы не против, пойдете вместе, а?

– Спасибо за приглашение, – сказала она.

– Значит, договорились?

– Нет, у меня, к сожалению, дела.

Он уже открыл рот, чтобы спросить, какие у нее дела после уроков, но осекся.

– Я бутерброды с собой беру, – продолжал он. – С ветчиной и соленьями. И апельсиновую шипучку. Прихожу на озеро часам к двенадцати, ухожу около трех. Здорово было бы вместе пойти. Вы собираете бабочек? У меня, например, большая коллекция. И для вас наловим.

– Спасибо тебе, Боб, но нет, не получится. Может быть, в другой раз.

Он поднял на нее глаза:

– Напрасно я об этом заговорил, да?

– У тебя есть полное право говорить о чем угодно, – ответила она.

* * *

Через несколько дней она нашла у себя потрепанную книгу «Большие надежды» и за ненадобностью отдала Бобу. В ту ночь он не сомкнул глаз и прочел роман от корки до корки, а наутро поделился впечатлениями. Теперь он изо дня в день поджидал мисс Тейлор за углом от пансиона, и она не раз начинала: «Боб...» – намереваясь сказать, чтобы он больше не приходил, но так и не собралась с духом.

В пятницу утром на учительском столе сидела бабочка. Мисс Тейлор уже собралась махнуть рукой, чтобы ее согнать, но вовремя заметила, что тонкие крылышки даже не дрогнули; тогда она сообразила, что пойманную бабочку принесли в класс до звонка. Поверх голов она отыскивала взглядом Боба, но тот уставился в книгу – не читал, а просто опустил глаза.

Именно тогда до нее дошло, что отныне ей будет затруднительно вызывать Боба отвечать домашнее задание. Карандаш то и дело останавливался на его имени, но в итоге она вызывала тех учеников, чьи фамилии значились в классном журнале до или после фамилии Маркхэм. Когда они вместе шли в школу или обратно, она не поднимала глаз. Но после уроков, когда Боб тянулся вверх, чтобы стереть с доски примеры и задачи, она нередко ловила себя на том, что исподволь наблюдает за его движениями.

А однажды в воскресенье он стоял посреди речушки в закатанных до колен штанах и вдруг, подняв голову, заметил, что у самой кромки воды появилась мисс Тейлор.

– А вот и я, – сказала она, смеясь.

– Честно говоря, – отозвался он, – меня это не удивляет.

– Покажи-ка мне раков и бабочек, – попросила она.

Они дошли до озера и сели на песок, обдуваемые теплым ветром.

Когда настало время подкрепиться бутербродами с ветчиной и соленьями, а также апельсиновым ситро, Боб чинно уселся немного позади.

– Эх, прямо не верится, – вырвалось у него. – Самое счастливое время в моей жизни.

– Кто бы мог подумать, что я отправлюсь на такой пикник, – сказала она.

– Да еще с каким-то сопляком, – добавил он.

– Мне здесь хорошо, – призналась она.

– Приятно слышать.

До вечера они почти не разговаривали.

– Неправильно это, – сказал он позднее. – А почему – не могу понять. Мы же просто гуляем, ловим этих дурацких бабочек и раков, едим бутерброды. Но мать с отцом точно меня прибьют, если узнают, да и в школе по башке дадут. А вас, наверное, учителя засмеют, да?

– К сожалению, это так.

– Тогда завязывать надо с этими бабочками.

– Я вообще не понимаю, как здесь оказалась, – пробормотала она.

На этом и закончился тот день.

* * *

Вот и все, что вместила в себя история Энн Тейлор и Боба Маркхэма. Две-три бабочки-данаиды, книга Диккенса, десяток раков, четыре бутерброда и две бутылки апельсинового ситро. В понедельник Боб долго стоял за углом, но так и не дождался, чтобы мисс Тейлор появилась в дверях и направилась в школу. Лишь примчавшись к первому звонку, он сообразил, что она вышла раньше обычного и намного его опередила. После занятий она снова исчезла: на последнем уроке ее подменяла другая учительница. Пройдясь мимо пансиона, где жила мисс Тейлор, он так ее и не увидел, а позвонить в дверь не решился.

Во вторник после уроков они снова оказались в безмолвной классной комнате: он размеренно тер доску губкой, как будто время остановилось и спешить больше некуда, а она проверяла тетради, и ей тоже казалось, что можно до скончания века сидеть за столом, утопая в непостижимом покое и счастье, – и тут вдруг пробили часы на здании суда. Часовая башня находилась в квартале от школы, но от бронзового гула курантов содрогалось все тело, точно старея с каждым ударом. Этот бой пробирал до костей, напоминая о сокрушительной силе времени; с пятым ударом она

подняла голову и долго смотрела в окно на городские часы. Потом отложила ручку.

– Боб! – окликнула мисс Тейлор.

Вздрогнув, он обернулся. За все это время они не перемолвились ни словом.

– Подойди, пожалуйста, – попросила она.

Он медленно положил губку.

– Иду, – ответил он.

– Присядь, Боб.

– Да, мэм.

Несколько мгновений она пристально смотрела на него, и наконец он отвел глаза.

– Ответь мне, Боб, ты понимаешь, о чем я собираюсь поговорить? Догадываешься?

– Да.

– Тогда сам скажи.

– О нас, – произнес он, помолчав.

– Сколько тебе лет, Боб?

– Пятнадцать будет.

– На самом деле тебе четырнадцать.

Он неловко поерзал.

– Да, мэм.

– А знаешь ли ты, сколько мне?

– Да, мэм. Слышал. Двадцать четыре.

– Двадцать четыре.

– Через десять лет мне тоже будет двадцать четыре, – сказал он.

– Но к сожалению, сейчас тебе еще нет двадцати четырех.

– А иногда кажется, что есть.

– Понимаю – иногда ты и ведешь себя как мой ровесник.

– Честно?

– Ну-ка, сиди смирно; это серьезный разговор. Нам необходимо самим разобраться в том, что происходит, ты согласен?

– Вообще-то да.

* * *

– Для начала давай признаем: мы самые лучшие, самые близкие друзья на свете. Давай признаем: у меня никогда не было такого ученика, как ты, и

ни к одному молодому человеку я не испытывала такой нежности. И позволь, я скажу за тебя: ты считаешь меня лучшей учительницей из всех, которые у тебя были.

– Если бы только это, – сказал он.

– Возможно, ты чувствуешь нечто большее, но приходится учитывать самые разные обстоятельства, весь уклад нашей жизни, считаться с горожанами, соседями и, конечно, друг с другом. Я размышляю об этом уже много дней, Боб. Не думай, что я не способна разобраться в собственных чувствах. По некоторым причинам наша дружба действительно выглядит очень странно. Но ведь ты – незаурядный юноша. Себя, как мне кажется, я тоже хорошо знаю и могу сказать, что не страдаю физическими или умственными расстройствами; я искренне ценю тебя как личность. Но в нашем мире, Боб, о личности принято говорить только тогда, когда человек достиг определенного возраста. Не знаю, понятно ли я выражаюсь.

– Чего ж тут непонятного? – проговорил он. – Был бы я на десять лет старше и на пятнадцать дюймов выше – и разговор был бы другой. Глупо судить о человеке по его росту.

– Согласна, это кажется глупостью, – продолжила она, – ведь ты ощущаешь себя взрослым, знаешь, что не делал ничего плохого и стыдиться тебе нечего. Тебе нечего стыдиться, Боб, так и знай. Ты держался честно и достойно; надеюсь, и я вела себя так же.

– Это уж точно, – подтвердил он.

– Возможно, придет время, когда люди научатся распознавать зрелость характера и будут говорить: вот это настоящий мужчина, хотя ему всего четырнадцать лет. По воле случая и судьбы он стал зрелым человеком, который трезво оценивает себя, знает, что такое ответственность и чувство долга. Но пока это время не пришло, мерилom будут служить возраст и рост.

– Несправедливо, – сказал он.

– Допустим, и мне это не по душе, но ты же не хочешь, чтобы тебе в конце концов стало еще тяжелее? Ты же не хочешь, чтобы мы оба были несчастны? А ведь именно это нас и ждет. Мы ничего не можем изменить, у нас нет выбора; даже этот разговор о нас самих – и тот звучит нелепо.

– Да, мэм.

– Но по крайней мере, мы выяснили все, что касается нас двоих, мы знаем, что не сделали ничего дурного, что совесть у нас чиста и в наших отношениях нет ничего постыдного. Однако мы оба понимаем и то, что продолжение невозможно, так ведь?

– Может, и так, только я ничего не могу с собой поделать.

– Нужно решить, как нам быть дальше. Сейчас об этом знаем только ты и я. Не исключено, что вскоре это будет знать каждый встречный и поперечный. Я могла бы сменить работу...

– Нет, даже не думайте!

– Или устроить так, чтобы тебя перевели в другую школу.

– Можете не трудиться, – бросил он.

– Почему же?

– Наша семья переезжает. В Мэдисон. Через неделю меня уже здесь не будет.

– Это ведь никак не связано с темой нашего разговора?

– Нет-нет, что вы. Отцу предложили хорошее место, вот и все. В пятидесяти милях отсюда. Мы ведь сможем видеться, когда я буду приезжать в город?

– Ты думаешь, это разумно?

– Наверное, нет.

Какое-то время они сидели молча.

– Почему же так вышло? – беспомощно спросил он.

– Не знаю, – ответила она. – Никто не знает. Тысячу лет люди не могут найти ответа на этот вопрос и, как мне кажется, никогда не найдут. Нас либо тянет друг к другу, либо нет, и случается, между двумя людьми возникает чувство, которое приходится скрывать. Я не могу объяснить, что меня подтолкнуло, а ты – тем более.

– Пойду я домой, – проговорил он.

– Ты на меня не сердишься?

– Господи, конечно нет. Как я могу на вас сердиться?

– И еще одно. Я хочу, чтобы ты помнил: в жизни нам за все воздается. Так было во все времена, иначе род человеческий не смог бы выжить. Сейчас тебе тяжело, так же как и мне. Но потом произойдет событие, которое залечит все раны. Ты мне веришь?

– И рад бы поверить...

– Это чистая правда.

– Вот если бы... – начал он.

– О чем ты?

– Если бы только вы могли меня подождать, – выпалил он.

– Подождать десять лет?

– Мне тогда исполнится двадцать четыре.

– А мне – тридцать четыре, и возможно, я стану совсем другим человеком. Нет, думаю, это невозможно.

– Разве вам бы этого не хотелось?! – воскликнул он.
– Да, – ответила она тихо. – Это нелепость и бессмыслица, но мне бы этого очень хотелось.
Долгое время он сидел молча.
– Я вас никогда не забуду, – сказал он.
– Спасибо тебе за эти слова, но так не бывает – жизнь устроена иначе. Ты забудешь.
– Нет, не забуду. Я что-нибудь придумаю, но никогда вас не забуду, – повторил он.
Она встала и пошла вытирать доску.
– Я помогу, – вызвался он.
– Нет-нет, – поспешно возразила она. – Иди домой, а дежурить больше не оставайся. Я поручу это Хелен Стивенс.
Боб вышел из класса. Оглянувшись с порога, он в последний раз увидел Энн Тейлор: она стояла у доски и медленными, плавными движениями – вверх-вниз, вверх-вниз – стирала меловые разводы.

* * *

Через неделю он уехал из города на долгих шестнадцать лет. Живя всего в пятидесяти милях, вернулся он уже тридцатилетним, женатым человеком: как-то по весне, проездом в Чикаго, они с женой сделали остановку в городке Грин-Блафф.

Боб надумал пройтись в одиночку и в конце концов решился навести справки о мисс Энн Тейлор. Сначала никто ее даже не вспомнил, а потом кого-то из горожан осенило:

– Ах да, была такая учительница, само очарование. Умерла вскоре после твоего отъезда.

Замуж-то она вышла? Да нет, как-то не сложилось.

Во второй половине дня, побродив по кладбищу, он отыскал могильный камень с высеченной надписью: «Энн Тейлор, 1910–1936». Двадцать шесть лет, подумал он. А ведь я теперь на четыре года старше вас, мисс Тейлор.

Ближе к вечеру горожане увидели, что встречать Боба Маркхэма вышла его жена, и все головы поворачивались ей вслед, потому что на лице у нее играли солнечные зайчики. Была она как нежный персик среди зимних снегов, как глоток холодного молока к завтраку в душное летнее утро. А день выдался такой, когда мир обрел равновесие, подобно

кленовому листу, которому не дают упасть благодатные ветра: один из тех редкостных дней, которые, по общему мнению, следовало бы назвать в честь жены Боба Маркхэма.

В июне, в темный час ночной

1954

Он ждал в летней ночи долго-долго, пока мрак не прильнул к теплой земле, пока в небе не зашевелились ленивые звезды. Положив руки на подлокотники моррисовского кресла, он сидел в полной темноте. До него доносился бой городских часов: девять, десять, одиннадцать, а потом наконец и двенадцать. В кухонное окно хлынул темной рекой свежий ветер, налетел на него, как на мрачный утес, а он только молча наблюдал за входной дверью – молча наблюдал.

В июне, в темный час ночной...

Стихи прохладной ночи, созданные Эдгаром Алланом По, скользнули у него в памяти, как воды затененного ручья.

Спит Леди! Пусть спокойно спит,
Пусть небо спящую хранит!
И сновиденья вечно длит...^[3]

Он прошел лабиринтом черных коридоров и шагнул в сад, кожей ощущая город, затихший в постели, во сне, в ночи. На траве поблескивала змейка садового шланга, свернутого в упругое кольцо. Он включил воду. Стоя в одиночестве и поливая цветочную клумбу, он воображал, будто дирижирует оркестром, который могут услышать лишь бродячие собаки, что слоняются впотьмах и скалятся зловещими белозубыми улыбками. Он осторожно перебрался на рыхлую землю под окном и, увязая обеими ногами под тяжестью своего долговязого тела, оставил четкие, глубокие следы. А после он вернулся в дом и двинулся вслепую вдоль невидимого коридора, роняя на пол комья грязи.

Сквозь окно веранды смутно просматривались очертания заполненного на треть стакана с лимонадом, оставленного ею на перилах крыльца. Его слегка передернуло.

Теперь он ощущал, как она возвращается домой. Летней ночью спешит издалека, через весь город. Он закрыл глаза, напрягся, чтобы уточнить

место, и определил, каким маршрутом она передвигается в темноте: ему было видно, где она ступила на мостовую и перешла улицу, в какую сторону двинулась по тротуару, стуча каблучками – тук-тук, тук-тук – под июньскими вязами и последней сиренью, пока еще с кем-то из подружек. В пустынном ночном безлюдье он вжился в ее облик. Нащупал руками сумочку. Поежился, когда длинные волосы защекотали шею, а губы облепил слой помады. Это он, не двигаясь с места, шел, шел, шел домой в полночной тьме.

– Счастливо!

Ему слышались и не слышались голоса, а она подходила все ближе, вот она уже в какой-то миле от него, в какой-то тысяче ярдов, спускается, как хрупкий белый фонарик по невидимой проволоке, в овраг, где стрекочут сверчки, квакают лягушки, журчит вода. Он ощущал шершавые деревянные ступеньки, ведущие вниз, как будто вернулся в детство и сам побежал к ручью, не боясь занозить пятки на досках, согретых теплой пылью ушедшего дня...

Он вытянул перед собой руки. Большие пальцы соприкоснулись, а за ними и указательные соединились в воздухе, образовали круг пустоты. Тогда он начал очень медленно сжимать кольцо, все крепче и крепче, приоткрыв рот, закрыв глаза.

Потом опустил подрагивающие руки на подлокотники кресла. Глаза открывать не стал.

Как-то ночью – дело было давным-давно – он забрался по пожарной лестнице на крышу здания суда, чтобы с башни разглядеть этот серебристый город, лунный город, летний город. И в неосвещенных домах ему открылись два начала: человек и сон. Две стихии, соединившиеся в постели, выдыхали в неподвижный воздух изнеможение и страх, а потом вбирали их снова, до тех пор пока одна из стихий не очищалась, пока не изгонялись раз и навсегда, задолго до рассвета, все неудачи, отращения и страхи минувшего дня.

В тот давний час его заморозил ночной город, и он почувствовал себя всемогущим волшебником, который управляет судьбами, как марионетками, дергая за паутинки ниток. С вершины башни он за пять миль угадывал малейший трепет листвы в лунном свете, чуял угасание последнего огонька, словно мерцающего сквозь прорези в оранжевой тыкве, заготовленной на Хеллоуин. Тогда город не мог укрыться от его взгляда, не мог пошевелиться и даже вздрогнуть без его ведома.

Точь-в-точь как сейчас. Он сам превратился в башню с часами, которые размеренно бухали и возвещали время могучим бронзовым боем,

не спуская глаз с города, где в меловом лунном свете, подгоняемая порывами ветра, страха и самоуверенности, возвращалась к себе домой девушка: вброд через каменно-асфальтовые русла улиц, мимо свежеподстриженных лужаек, дальше бегом, ниже, ниже в овраг по деревянным ступенькам, а потом вверх, вверх по склону, по склону!

Он услышал ее шаги задолго до того, как они застучали рядом. Услышал ее прерывистое дыхание еще до того, как оно приблизилось. Его взгляд опять выхватил оставленный на перилах стакан. А затем послышались всамделишные звуки – настоящий бег и шумные вздохи, неотвязным эхом отдающиеся в ночи. Он выпрямился. Каблучки в панике простучали по мостовой, по тротуару. Снаружи раздалось бормотание, на ступенях крыльца произошла неловкая заминка, в замочной скважине повернулся ключ, и громкий шепот стал молить: «О Господи! О Господи, помоги!» Шепот! Шепот! Девушка ворвалась в дом, хлопнула дверью и, не умолкая, бросилась в сторону темной комнаты.

Он скорее почувствовал, нежели увидел, как ее рука тянется к выключателю.

И кашлянул.

* * *

В темноте она прижалась спиной к дверям. Пролейся на нее лунный свет, он бы подернулся рябью, как озерцо в ветреную ночь. У нее на лице – он это явственно ощутил – сверкнули два дивных сапфира, а кожа заблестела от соленых капель.

– Лавиния! – позвал он шепотом.

Ее раскинутые руки замерли, будто на распятии. Он услышал, как приоткрылись ее губы, чтобы выдохнуть тепло. Она была хрупким, смутно-белым мотыльком; он приколот ее к створкам двери острой иглой ужаса. Вокруг этого экземпляра можно было ходить сколько вздумается и разглядывать, разглядывать.

– Лавиния, – прошептал он.

От него не укрылось, как зашлось ее сердце. Но она не шелохнулась.

– Это я, – продолжил он.

– Кто? – спросила она еле слышно, а может, это у нее на шее забилась тонкая жилка.

– Не скажу, – прошептал он.

Расправив плечи, он стоял посреди комнаты. И, черт побери, ощущал

себя высоченным! В своих глазах он был статным, видным, темноволосым, а руки сами собой тянулись вперед, как будто готовились забегать по клавишам рояля, извлекая сладостную мелодию, ритмы вальса. Ладони холодила влага, словно их опустили в чашу с мятой и освежающим ментолом.

– Если сказать, кто я такой, ты, чего доброго, успокоишься. А я хочу, чтобы ты боялась. Страшно тебе?

В ответ не раздалось ни слова. Она сделала выдох и вдох, выдох и вдох, точно раздувала огонь ужаса, не давая ему угаснуть.

– Зачем ты пошла в кино? – спросил он шепотом. – *Зачем* пошла на последний сеанс?

Ответа не было.

Шагнув вперед, он услышал ее судорожный вдох, будто из ножен вытащили меч.

– Почему ты в одиночку пошла через овраг? – допытывался он шепотом. – Ты ведь возвращалась одна, верно? Боялась столкнуться со мной на мосту? Зачем ходила на последний сеанс? Почему в одиночку пошла через овраг?

– Я... – выдохнула она.

– Ты, ты, – подтвердил он.

– Не надо... – Ее шепот был истощнее крика.

– Лавиния. – Он приблизился еще на шаг.

– Умоляю, – выдавила она.

– Отвори дверь. Выйди. И беги, – прошептал он.

Она не двинулась с места.

– Открывай дверь, Лавиния.

Ее душили рыдания.

– Беги! – приказал он.

Следующий шаг – и его колено коснулось какой-то твердой кромки. Он выбросил вперед ступню, в темноте что-то накренилось и опрокинулось – низкий столик вместе с корзиной, из которой выкатилось с полдюжины невидимых клубков, по-кошачьи метнувшихся врассыпную. В единственном освещенном лунной квадратице, на полу под окном, блеснули металлической стрелкой ножницы для рукоделия. На ощупь они были холоднее зимнего льда. Неожиданно он протянул их ей сквозь неподвижный воздух.

– Бери, – прошептал он.

И вложил их ей в ладонь. Она отдернула руку.

– Держи, – настаивал он.

А немного выждав, повторил:

– Кому говорю – возьми!

Разжав ее пальцы, которые уже онемели от смертельного холода и не отзывались на прикосновения, он насильно всучил ей ножницы.

– Вот так, – припечатал он.

Его взгляд устремился в лунное небо, а после не сразу нашел ее в темноте.

– Я тебя поджидал, – сообщил он. – Впрочем, это не ново. Других поджидал точно так же. А кончалось дело тем, что они сами шли меня искать. На ловца и зверь бежит. Пятеро милых девушек за последние два года. Я только поджидал: одну в овраге, другую на окраине, третью у озера; ждал где придется, а они сами отправлялись меня искать – и всякий раз находили. На другой день читаешь газеты – прямо душа радуется. Вот и ты нынче как пить дать вышла на поиски, а иначе не сунулась бы одна в овраг. Небось сама на себя нагнала страху – и бежать, верно я говорю? Боялась, видно, что я подкарауливаю где-то внизу? Видела бы ты себя со стороны: неслась как угорелая по дорожке к дому! А как с замком-то возилась! А уж как запиралась изнутри! Видно, решила, будто дома тебе ничто не угрожает, ничто, ничто, ничто не угрожает, так ведь?

Сжимая ножницы в омертвевшей руке, она заплакала. Ему были видны только неверные блики, словно от воды, стекающей по стенке полутемной пещеры. Он услышал всхлип.

– Не горюй, – прошептал он. – У тебя же есть ножницы. Не плачь.

Но она все равно плакала, не в силах пошевелиться. Ее зазнобило. Она начала медленно сползать на пол.

– Успокойся, – шепнул он. – Хватит нюни распускать. – Тут он повысил голос: – Терпеть этого не могу!

Он стал тянуться к ней, и в конце концов одна его рука коснулась ее щеки. Кожа на ощупь оказалась мокрой, а теплое дыхание затрепетало летней бабочкой у него на ладони. После этого он повторял одно лишь слово.

– Лавиния, – тихо выговаривал он. – Лавиния.

* * *

Как отчетливо помнил он прежние ночи в прежние времена, во времена детства, когда они всей компанией целыми днями играли в прятки – бегали-прятались, бегали-прятались! С наступлением весны, и в теплые

летние ночи, и в конце лета, и в те первые пронзительные осенние вечера, когда двери закрывались рано, а на террасах шевелились разве что опавшие листья. Игра в прятки продолжалась до тех пор, пока не закатывалось солнце, пока не всходила снежная горбушка луны. Топот детских ног по зеленой лужайке напоминал беспорядочный стук падающих персиков и диких яблок, а водящий, прикрывая руками опущенную голову, нараспев отсчитывал: пять, десять, пятнадцать, двадцать, двадцать пять, тридцать, тридцать пять, сорок, сорок пять, пятьдесят... И вот уже стук яблок уносился вдаль, мальчишки надежно хоронились кто под сенью кустарника, кто на дереве, кто под резным крылечком, а умные собаки старались не вилять хвостами, чтобы никого не выдать. Тем временем счет подходил к концу: восемьдесят пять, девяносто, девяносто пять, сто!

Пора не пора, выхожу со двора!
Кто не спрятался, я не виноват!

И водящий выбегал искать, а остальные зажимали ладошками рты, чтобы удержать рвущийся на волю смех, вкусный, как ранняя земляника. Водящий, наострив уши, ждал хоть малейшего шороха с высокого вяза, хоть биения сердца, хоть косого взгляда собаки в сторону какого-нибудь куста, хоть робкого журчания смеха, который грозит хлынуть через край, если пробежишь совсем близко, не заметив тень, скрытую в тени.

Он пошел в ванную затихшего дома, предаваясь этим мыслям, наслаждаясь ясным потоком, бурным наплывом воспоминаний, подобных водопаду, который срывается с крутого обрыва и падает в глубины сознания.

Какими же гордыми и таинственными становились те, кто сидел в засаде; как лелеял их, упивающихся своим превосходством, спасительный полумрак! Обливаясь потом, каждый съезживался, точно деревянный божок, и думал, что можно прятаться *вечно*! А недотепа-вода бежал мимо, обрекая себя на неудачу и верный проигрыш.

Бывало, остановится он у твоего дерева и вопьется глазами в гущу ветвей, а ты, скорчившись, кутаешься в свои невидимые теплые крылья, в огромные, бесцветные, перепончатые крылья, как у летучей мыши. Он кричит: «Я вижу, ты там!» Но не тут-то было. «Ты точно там, *наверху*!» А ты – молчок. «Давай спускайся!» Но ему в ответ ни слова, только победная улыбка Чеширского кота. Тогда водящий может засомневаться. «Это ведь ты?» Первый признак неуверенности. «Эй! Да я *знаю*, ты там, *наверху*!»

Ответа нет. Дерево и то затаилось в темноте, оно даже слегка дрожит – листок тут, листок там. И водящий, испугавшись темноты в темноте, убегает в поисках более легкой добычи, которую можно засечь и окликнуть по имени. «Ну и сиди там».

Ополаскивая под краном ладони, он подумал: «Зачем я мою руки?» И крупницы времени опять потекли в сосуд песочных часов, но это был уже другой год...

Иногда, вспоминалось ему, ребята и вовсе не могли его найти; он не давал им такой возможности. Не издавая ни звука, он так долго стоял на яблонево́м суку, что сам превращался в наливное яблоко; он так долго таился в ветвях каштанового дерева, что приобретал твердость и густо-коричневый блеск осеннего каштана. Подумать только, какое могущество дает тебе тайное укрытие, как разрастается твоя значительность, даже руки начинают ветвиться в разные стороны под притяжением звезд и фаз луны, и в конце концов твоя тайна окутывает весь город и берет его под защиту благодаря твоему сочувствию и терпению.

В темноте можно творить что угодно, ну просто все. Что хочешь, то и делаешь. Какую власть дает взгляд сверху на людишек, которые бредут по тротуару, не подозревая, что взяты на заметку; но стоит тебе вытянуть руку – и кому-нибудь на нос опустится тенью паук твоей пятерни, а на голову – пелена ужаса.

Закончив мыть руки, он принялся вытирать их полотенцем.

Впрочем, у всякой игры бывает конец. Когда водящий нашел всех, кто прятался, и каждый в свой черед уже отводил, выкрикивая твое имя, но так и не добравшись до твоего укрытия, это укрепляет твою власть и превосходство. «Эй! Эй! Ты где? Выходи, мы больше не играем!»

Но ты не выходишь, даже не шевелишься. Пусть все они собрались под твоим деревом, пытаясь разглядеть тебя на макушке, и зывают: «Эй! Спускайся! Хватит придуливаться! Эй! Мы тебя видим. Мы знаем, ты здесь!»

Тут главное – не отвечать, помалкивать до тех самых пор, пока не случится неотвратимое. За тридевять земель, в соседнем квартале, зальется серебряный свисток, и материнский голос позовет тебя по имени, а потом – опять свисток.

– Девять часов! – протяжно кричит этот голос. – Девять часов! Домой!

Но ты дожидаясь, чтобы сначала разошлись все остальные. И только после этого, осторожно расправляя крылья, высвобождая тепло и тайну, бежишь домой темными закоулками, стараешься не дышать и сдерживать удары сердца – если кто и услышит, пусть думает, что это ветер

играет опавшим листком. А мама уже стоит на крыльце, и дверь распахнута настежь.

Он высушил руки.

С минуту постоял, прикидывая, как прошли в городе последние два года. Давняя игра не окончилась, только играл в нее он один: приятели разъехались кто куда, остепенились, вступив в пору зрелости, а он все прячется, а водит нынче весь город, который смотрит, да не может найти, а потом плетется домой и запирается на засов.

Но этим вечером, как часто случалось в последнее время, до него донесся знакомый звук: трель серебряного свистка, неумолчная, неумолчная. Определенно, это была не птичья трель – он слишком хорошо знал все переливы. Свисток звал и звал, а голос вторил: «Домой! Девять часов!» – хотя время давно перевалило за полночь. Он прислушался. Опять этот серебряный свисток. А ведь мать умерла много лет назад, но прежде загнала в могилу отца своим языком и нравом. «Сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это, сделай то, сделай это...» Как заезженная пластинка, повторяющая надтреснутым голосом одно и то же, одно и то же, одно и то же, тем же тоном, круг за кругом, круг за кругом и опять, опять, опять.

И вот – чистая трель серебряного свистка, и окончена игра в прятки. Он больше не бегал по городу, не прятался за деревьями и кустами, никого не слепил улыбкой, прожигающей самую плотную крону. Жил как заведенный. Ноги несли его сами по себе, руки сами совершали движения, и он знал все, что неминуемо должно произойти.

Руки ему не принадлежали.

Он оторвал пуговицу от пиджака, и она провалилась в глубокий темный колодец комнаты. Но удара о дно не последовало. Пуговица плыла вниз. Он ждал.

Казалось, этому падению не будет конца. Но вот она остановилась.

Руки ему не принадлежали.

Он вынул из кармана трубку и швырнул туда же, в недра комнаты. Не дожидаясь удара о пустоту, он тихо вернулся тем же путем на кухню и сквозь развевающиеся перед открытым окном белые занавески внимательно осмотрел следы, которые оставил снаружи.

Сейчас он водил, искал, а не прятался, не таился. Он был настороженным охотничьим псом, который вынюхивает, проверяет, отбрасывает лишнее, а те следы были ему чужды, как знаки доисторической эпохи. Их оставил миллион лет назад кто-то другой, по другому поводу; они его не касались ни в коей мере. При лунном свете они

поражали четкостью и глубиной. Высунувшись из окна, он почти дотронулся до этих отпечатков как до великой и прекрасной археологической находки! Потом он прошел через те же комнаты, на ходу оторвал клочок ткани от обшлага брюк и сдул его с открытой ладони, как бабочку.

Руки перестали быть его собственными руками; тело тоже перестало быть его собственным.

Открыв входную дверь, он вышел на крыльцо и ненадолго присел на перила. Допил остатки лимонада, нагретого вечерним ожиданием, и крепко сдавил пальцами стакан, крепко, крепко, очень крепко. И только после этого опустил стакан на перила.

Серебряный свисток!

Вот оно! – подумалось ему. Близится. Близится.

Серебряный свисток!

Вот оно, думалось ему. Девять часов. Домой. Домой. Девять часов. Уроки, молоко с печеньем, прохладные белые простыни, домой, домой, девять часов, серебряный свисток.

Он резко сошел с крыльца и побежал – неслышно, легко, словно босиком; ни дыхания, ни стука сердца, как бежит лишь тот, кто весь – листья и зеленая июньская трава, и ночь, и сумрак; этот вечный бег уводил его прочь от притихшего дома, через дорогу и дальше, в овраг...

Широко распахнув дверь, он шагнул в закусочную «Сова», которая занимала длинный, снятый с рельсов железнодорожный вагон, приговоренный влачить одинокое существование в центре городка. Внутри было пусто. Стоявший за дальним концом стойки буфетчик наблюдал, как захлопнулась дверь, впустив посетителя, и как тот проследовал вдоль ряда пустых вращающихся стульев. Буфетчик вынул изо рта зубочистку:

– Том Дилон, старый чертяка! Чего тебе надо в такое время?

Даже не заглянув в меню, Том Дилон сделал заказ. Пока его не обслужили, он бросил пять центов в щель телефонного аппарата, висевшего на стене, набрал номер и приглушенно заговорил. Потом вернулся, сел за стойку, прислушался. Через шестьдесят секунд они с буфетчиком услышали вой полицейской сирены; машина неслась на предельной скорости.

– Мать честная! – воскликнул буфетчик. – Хватайте всех злодеев, ребята! – Он поставил перед посетителем молоко в высоком стакане и тарелку с шестью свежими крекерами.

Том Дилон долго молчал, украдкой поглядывая на рваный отворот брюк и грязные ботинки. Освещение в закусочной было холодным и ярким,

как огни ramпы. Сжимая в руке высокий запотевший стакан, он с закрытыми глазами прихлебывал молоко и разжевывал пшеничное печенье в вязкую массу.

– Как по-твоему, это сытный ужин? – глухо спросил он.

– Куда уж сытнее! – усмехнулся буфетчик.

Том Дилон методично прожевал следующий крекер, набив рот вязким месивом. Теперь это лишь вопрос времени, подумал он, выжидая.

– Еще молока?

– Давай, – согласился Том.

Он с неподдельным интересом и крайней сосредоточенностью наблюдал, как наклонился, поблескивая глянцем, картонный пакет, как из него побежало белоснежное молоко, прохладно-спокойное, точно родник в ночи, и заполнило стакан до краев, до самых краев, и перелилось через край...

Летняя прогулка

1979

Всю ночь в спальне было прохладно, будто в роднике, а она, как белый камешек, лежала на дне; ей это нравилось – приятно было плыть сквозь темную, но прозрачную стихию из снов и яви. Она чувствовала, как из ноздрей толчками вырывается дыхание, и вдобавок, закрывая и открывая глаза, раз за разом ощущала широкие взмахи собственных ресниц. Но потом из-за холмов выглянуло солнце, и с его появлением – она это явственно чувствовала – всю спальню затрясло, как в лихорадке.

«Утро, – сказала она про себя. – Наверное, день будет особенный. Как-никак мой день рождения. В такой день может произойти все, что угодно. И надеюсь, произойдет».

Движение воздуха, словно дыхание лета, тронуло белые занавески.

– Виния!..

Ее звал чей-то голос. Впрочем, откуда было взяться голосу? И все же – Виния приподнялась на локте – он зазвучал опять:

– Виния!..

Она, выскользнув из постели, подбежала к высокому окну своей спальни.

Внизу, на свежей траве, стоял Джеймс Конвэй, ее ровесник, шестнадцати лет от роду; он-то и звал ее в этот ранний час, а когда в окне появилось ее лицо, со значением улыбнулся и замахал рукой.

– Джим, ты что тут делаешь? – спросила она.

– Да я уж час как на ногах. Решил выбраться за город, – ответил он, – на весь день, вот и собрался пораньше. Не хочешь присоединиться?

– Ой, наверно, не получится... мои вернутся поздно, я дома одна, мне нужно...

Она увидела зеленый холмистый простор, дороги, уходящие в лето, в август, и реки, и предместья, и этот дом, и эту комнату, и это мгновение.

– Я не смогу... – слабо проговорила она.

– Не слышу! – улыбочиво запротестовал Джеймс, приложив ладонь козырьком.

– А почему ты позвал меня – других, что ли, не нашлось?

Ему пришлось чуток поразмыслить.

– Сам не знаю, – признался он. Подумал еще немного и послал ей приветливый и теплый взгляд. – Потому что потому. Вот и все.

– Сейчас выйду, – сказала она.

– Эй! – окликнул он.

Но в окне уже никого не было.

Они стояли посреди безупречной лужайки; изумрудную гладь нарушили две цепочки шагов: одна, что полегче, торопливо пробежала тонкой строчкой, а другая, что потяжелее, прошагала неспешно, размашисто, навстречу первой. Городок молчал, как забытые часы. Все ставни еще были закрыты.

– Ничего себе! – сказала Виния. – В такую рань. С ума сойти, как рано. Уж не помню, когда я просыпалась в такое время. Слышно, как люди спят.

Они прислушались к листве деревьев и белизне стен; в этот рассветный час, в этот час шепотов, мыши-полевки устраивались на ночлег, а цветы готовились разжимать яркие кулачки.

– В какую сторону пойдём?

– Как скажешь.

Виния зажмурилась, покрутилась на месте и ткнула пальцем наугад:

– Куда я сейчас показываю?

– На север.

Она открыла глаза.

– Значит, пойдём из города на север. Только оно не к добру.

– Почему это?

И они зашагали из города; между тем солнце уже поднималось над холмами, а лужайки пуце прежнего горели изумрудным огнем.

В воздухе пахло горячим шоссе с белой разметкой, и пылью, и небом, и виноградными водами проворной речки. Над головой округлился свежий лимон солнца. Впереди маячил лес, где жили тени, словно под каждое дерево слетелся миллион трепетных птиц, но на самом деле это подрагивали пятнышки от листьев, не пропускавших света. К полудню Виния и Джеймс Конвэй оставили позади обширные луга, что крахмально и туго пружинили под ногами. День нагрелся, как нагревается на солнцепеке чай со льдом в запотевшем стакане.

Они сорвали гроздь винограда с шершавой дикой лозы. Посмотришь на ягоду против солнца – в ней отчетливо проступают виноградные мысли, погруженные в густо-янтарную мякоть, горячие семена раздумий, накопившиеся у лозы за долгие послеполуденные часы одиночества и растительного созерцания. У виноградин был привкус чистой родниковой воды и чего-то еще, принесенного утренней росой и вечерними дождями. Живая плоть апреля, согретая августом, приготовилась отдать свой нехитрый клад первому встречному. А урок отсюда таков: сиди на солнце,

склонив голову, под сенью колючей лозы, хоть в мерцании света, хоть в прямых лучах, и Вселенная придет к тебе сама. Дай срок – явится небо и подарит дождь, а земля поднимется и войдет в тебя, чтобы напитать изобилием и богатством.

– Съешь виноградину, – сказал Джеймс Конвэй. – Бери сразу две.

С набитыми ртами они жевали мякоть, истекающую соком.

Усевшись на берегу, они скинули обувь и не струсил, когда речная вода заточенным ледяным клинком отсекла им ступни по самую лодыжку.

«Ноги пропали!» – подумала Виния. Но, опустив глаза, увидела, что ноги никуда не делись, просто ушли без спросу на дно и сразу освоились в земноводном царстве.

На обед были ломти хлеба с яичницей, которые Джим прихватил из дому в бумажном пакете.

– Виния, – заговорил Джим, примеряясь к сэндвичу, прежде чем откусить первый кусок, – можно тебя поцеловать?

– Не знаю, – сказала она. – Я как-то об этом не думала.

– А ты подумай, – попросил он.

– Разве мы для того пошли гулять, чтоб ты ко мне приставал с поцелуями? – резко спросила она.

– Да я что? Денек такой классный! Зачем его портить? Но если ты надумаешь поцеловаться – скажи, ладно?

– Скажу, – пообещала она, принимаясь за второй сэндвич. – Если надумаю.

* * *

Дождь обрушился, как неожиданная весть. Он принес запахи газировки, лайма, апельсина и чистой воды, самой свежей речки на всем белом свете, которая бурлила талой водой, падавшей с высокого, пересохшего неба.

Сначала в вышине возникло какое-то движение, словно шевельнулся тонкий покров. Тучи мягко обволакивали друг дружку. Слабый ветерок тронул волосы Винии и, вздыхая, утер влагу с ее верхней губы, а когда они с Джимом бросились наутек, дождевые капли добрались до них не сразу, но потом все же настигли и холодными колотушками погнали через замшелый бурелом, между неохватными деревьями в самую чашу, в пряную сердцевину урочища. Лес встрепенул, влажно зашептал над головой, каждый лист зазвенел и расцвечился под дождевыми струями.

– Сюда! – выкрикнул Джим.

И они юркнули в огромное дупло, которое приняло их обоих, чтобы спрятать от дождя в тепло и уют. Они стояли, обнявшись, все еще дрожа от холода, и смеялись, потому что у каждого с носа и щек сбегали дождевые капли.

– Эй! – Он лизнул ее лоб. – Дай-ка попить водички!

– Джим!

Они ловили звуки дождя: падающая вода отмывала Вселенную до атласной чистоты, шептались высокие травы, пробуждались сладковатые запахи мокрой древесины и слежавшихся прелых листьев столетней давности.

Потом до слуха донесся еще один звук. Где-то наверху, в теплом сумраке дупла раздавался ровный гул; можно было подумать, где-то вдалеке хозяйка печет сладкие пироги, заливает глазурью, украшает цукатами, посыпает сахарной пудрой, – в общем, можно было подумать, что в натопленной, неярко освещенной кухне под шум летнего дождя хозяйка готовит обильные яства и умиротворенно мурлычет песенку, не размыкая губ.

– Пчелы, Джим, гляди, пчелы!

– Тихо!

Во влажной, темной воронке дупла мельтешили желтые точки. Запоздалые, промокшие пчелы спешили домой с облюбованных полей, лугов или пастбищ и, проносясь мимо Винии с Джимом, взмывали в темную пустоту, хранящую жар лета.

– Они не тронут. Главное – не шевелись.

Джим крепче сжал объятия; Виния тоже. Она чувствовала на лице его дыхание, смешанное с запахом терпкого винограда. Чем настойчивее барабанил по стволу дождь, тем крепче они обнимали друг друга, заходясь от хохота, но в конце концов их смех растаял в жужжании пчел, вернувшихся с дальних лугов. И тогда Винии подумалось, что на них в любой момент может обрушиться лавина меда, которая накроет их с головой, запечатает внутри этого дерева, как в заветном куске янтаря, а потом, через тысячу лет, когда снаружи отгремят, отшумят, отцветут стихии веков, случайному путнику повезет найти эту застывшую картину.

Внутри было так тепло, так спокойно, Вселенная перестала существовать, оставалась только бессловесность дождя да еще лесная полутьма этого дня.

– Виния, – прошептал, немного повременив, Джим, – теперь-то можно?

Его лицо сделалось очень большим, оно оказалось так близко, что

заслонило все лица, которые встречались ей прежде.

– Теперь можно, – ответила она.

Он поцеловал ее.

Дождь буйствовал целую минуту, снаружи холодало, а внутри ютилось укромное древесное тепло.

Поцелуй оказался очень нежным. Он был добрым, приятно теплым, а на вкус – как абрикос и свежее яблоко, как вода, которую, проснувшись от жажды, глотаешь среди ночи, только для этого нужно пробраться в темную летнюю кухню, чтобы там, в тепле, напиться прямо из прохладного жестяного ковшика. Прежде она и вообразить не могла, что поцелуй бывает таким приятным, и безгранично ласковым, и бережным. Теперь Джим обнимал ее совсем не так, как минуту назад, когда защищал от зеленого лесного ненастья; теперь он прижимал ее к груди, как фарфоровые часы, с осторожностью и заботой. Его глаза были закрыты, а ресницы блестели темной влагой; она успела это заметить, когда сама на мгновение открыла глаза, чтобы тут же смежить веки.

Дождь перестал.

В этот миг на них обрушилась новая тишина, подтолкнувшая к осознанию перемен за пределами их мира. Теперь там не было ничего, кроме запоздалых струй, угодивших в невод лесных ветвей. Туча двинулась прочь, оставляя на синем небосклоне большие рваные заплатки.

Эти перемены повергли Винию с Джимом в некоторое смятение. Они ждали, что дождь вот-вот польет с новой силой и тогда им поневоле придется застрять в этом дупле еще на минуту, еще на час. Но тут выглянуло солнце, озарило все вокруг ярким светом и вернуло к обыденности.

Медленно выбравшись из дупла, они постояли, раскинув руки, будто старались сохранить равновесие, а потом стали искать дорогу из этого леса, где вода на глазах испарялась с каждой ветки, с каждого листа.

– Ладно, пора двигаться, – сказала Виния. – Нам туда.

Дорога вела в сторону слепополуденного лета.

* * *

В городок они вернулись уже на закате и, взявшись за руки, прошли сквозь последний свет теплого дня. На обратном пути они почти не разговаривали и теперь, раз за разом сворачивая с одной улицы на другую, разглядывали тротуар, тянувшийся под ногами.

– Виния, – проговорил наконец Джим, – тебе не кажется, что это начало?

– Скажешь тоже, Джим!

– А может, у нас любовь?

– Откуда я знаю?

Они спустились в овраг, перешли через мостки, поднялись на другой берег и оказались на ее улице.

– Как по-твоему, мы с тобой поженимся?

– Рано загадывать, – отозвалась она.

– Да, верно. – Он прикусил губу. – А гулять еще пойдем?

– Не знаю. Посмотрим. Там видно будет, Джим.

Судя по неосвещенным окнам, дома по-прежнему никого не было. Постояв на крыльце, они с серьезным видом пожали друг другу руки.

– Спасибо тебе, Джим, хороший был денек, – сказала она.

– Не за что, – ответил он.

Они постояли еще немного.

Потом он повернулся, сошел по ступеням и пересек темную лужайку. На дальней кромке остановился и сказал из темноты:

– Спокойной ночи.

Он побежал и уже почти скрылся из виду, когда она в ответ тоже сказала:

– Спокойной ночи.

* * *

В ночной час ее разбудил какой-то шелест.

Она приподнялась на локте, прислушиваясь. Родители уже вернулись, заперли окна-двери, но что-то здесь было не так. Нет, ей слышались ни на что не похожие звуки. Лежа у себя в спальне, вглядываясь в летнюю ночь, которая совсем недавно была летним днем, она вновь услышала все тот же шорох, и оказалось, это зов гулкого тепла, и мокрой коры, и старого, дуплистого дерева, вокруг которого дождь, а внутри – уют и тайна, и вдобавок это жужжание пчел, которые, возвращаясь с далеких лугов, взмывают под своды лета, в неведомую тьму.

И этот шелест – до нее дошло, когда она подняла руку, чтобы найти его на ощупь в летней ночи, – слетал с ее сонных, полураскрытых в улыбке губ.

В скором времени под эту колыбельную к ней пришел сон.

Осенний день

2002

– До чего ж тоскливо в эту пору на чердаке прибираться, – сетовала бабушка. – Как по мне, осенью вообще радости мало. Не люблю, когда деревья облетают. А небо-то, небо – точно выбелено солнцем. – Покачивая седой головой, она медлила на ступеньках перед чердачной дверью, и в ее бледно-серых глазах была какая-то неуверенность. – Но дело делать надо, а сентябрь уже тут как тут, – говорила она. – Так что август можно отрывать!

– Август я себе заберу, ладно? – Том сжимал в руке лист отрывного календаря.

– Больно он тебе нужен, – сказала бабушка.

– Нет, правда, август никуда не делся, вот он весь. – Том поднял вверх августовскую страницу. – Каждый день приключались какие-то случаи, я ничего не забыл.

– Как пришел, так и ушел. – Бабушкин взгляд затуманился. – Никаких особых случаев не припомню.

– В понедельник мы на роликах гоняли в Чесмен-парке, во вторник у нас дома был шоколадный торт, в среду я в ручей свалился. – Том опустил лист календаря за ворот просторной рубашки. – И все на этой неделе. А на той неделе я раков ловил, качался на лозе, рукой на гвоздь напоролся, с забора упал. Это – только лишь до пятницы.

– Оно и неплохо, когда хоть что-нибудь приключается, – сказала бабушка.

– Сегодня тоже, – сказал Том, – с дуба нападало красных и желтых листьев, так я вот такой костер разжег. А после обеда пойду к полковнику Куотермейну на день рождения.

– Ты беги поиграй, – сказала бабушка. – Мне наверху прибраться надо.

Ей стало трудно дышать, когда она переступила через порог душной мансарды.

– Тут конь не валялся, – ворчала бабушка. – Весной-то у меня руки не дошли, а теперь зима на носу, того и гляди, снег выпадет, не хочу ноги морозить.

Сквозь полумрак она разглядела огромные сундуки, паутину и подписки старых газет. От балок тянуло вековой древесиной. Она распахнула запыленное окошко, выходившее в яблоневый сад. В мансарду ворвался холодный и пряный запах осени.

– Эй, внизу, поберегись! – выкрикнула бабушка и принялась метать из окна старые журналы и пожелтевшие газеты. – Все лучше, чем по лестнице вверх-вниз бегать.

Потом в воздухе закувыркались проволочные портновские манекены, ненужные клетки для попугайчиков и размахивающие страницами выцветшие энциклопедии. На чердаке повисла пыль, и вскоре у бабушки затрепыхалось сердце. Пришлось ей чуть ли не на ощупь искать сундук, чтобы присесть, – и тут она беззвучно засмеялась над собственной немощью.

– Хламу-то скопилось, барахла всякого! – воскликнула она. – Откуда что взялось? А это что такое?

Она подняла с пола коробку, набитую газетными вырезками, репродукциями и значками. Перевернув находку верх дном, бабушка высыпала содержимое на крышку сундука и стала перебирать. Ей на глаза попались листы старого отрывного календаря – три отдельные стопки, аккуратно перетянутые бечевкой.

– Не иначе как Том потрудился, – хмыкнула бабушка. – Чудной, право слово! Календари, календари, до календарей сам не свой.

Поднеся к глазам одну стопку, она прочла: «Октябрь 1887 г.». Этот лист пестрел восклицательными знаками, кое-какие даты были подчеркнуты красным карандашом, а на полях детская рука вывела пометки: «Отличный день!» или «Хороший денек!».

Когда она переворачивала лист, у нее вдруг онемели пальцы. Низко склонив голову и прищурив неяркие глаза, она с трудом различила надпись на обороте: «Элизабет Симмонс, 10 лет, ученица 5-го класса».

Бабушка не выпускала из похолодевших рук выцветшие листы и разглядывала один за другим. Число, год, восклицательные знаки, красные кружки вокруг необыкновенных дней. Она медленно сдвинула брови. Во взгляде появилось недоумение. Она молча откинулась на спину, не сдвинувшись с места, и стала смотреть в окно на сентябрьское небо. Руки ее свесились с сундука, а линялые, пожелтевшие листы календаря так и остались лежать у нее на коленях. Восьмое июля тысяча восемьсот восемьдесят девятого заключено в красный кружок! Чем же был примечателен тот день? Двадцать восьмое августа тысяча восемьсот девяносто второго, синий восклицательный знак! С какой стати? Дни, месяцы, годы, пометки, красные кружки – и больше ничего.

Закрыв глаза, она учащенно дышала.

Внизу, на жухлом газоне, с воплями носился Том.

Через некоторое время миссис Элизабет Симмонс заставила себя

подняться и выглянуть в окно. Ее взгляд задержался на внуке, который поддевал ногами ворохи багряной листвы. Прочистив горло, она позвала:

– Том!

– Бабушка! Ты такая смешная, когда на чердаке!

– Том, у меня к тебе просьба.

– Какая?

– Сделай одолжение, Том, выбрось этот гадкий, засаленный календарь, который ты сунул в карман.

– Это почему?

– Потому что потому. Нечего их копить, – объяснила старушка. – От них потом одно расстройство.

– Когда «потом»? И какое от них расстройство? Ничего не понимаю! – обиженно прокричал Том, задрав голову. – У меня все по порядку, каждая неделя, каждый месяц. Столько всего интересного – чтобы ничего не забыть!

Она посмотрела вниз и сквозь облетевшие яблоневые ветви увидела маленькую круглую физиономию.

– Ну ладно уж, – вздохнула бабушка.

Выброшенная из чердачного окна коробка с глухим стуком упала на землю.

– Не драться же с тобой. Приспичило хранить – храни.

– Спасибо, бабушка! – Том накрыл рукой карман, из которого торчал месяц август. – Я и сегодняшний денек запомню! На всю жизнь запомню, вот увидишь!

Бабушка смотрела вниз сквозь оголившиеся осенние ветви, которые шевелил холодный ветер.

– А как же, миленький, конечно запомнишь, – только и сказала она.

Туда и обратно

От Сотворения мира не случилось, чтобы день встретил сам себя такой щедрой благодатью и свежестью духа. Не случилось и более зеленого утра, чем это, которое в каждом уголке дышало весной. Птицы носились по воздуху как угорелые, а кроты вместе с прочей живностью, таившейся в земле или под камнями, рискнули выбраться наружу, позабыв, что за это недолго поплатиться жизнью. Из тысяч распахнутых окон город выдыхал зимнюю пыль, которую тут же смывало небо, вобравшее в себя приливные волны Индийского и Тихого океанов, да Карибского моря в придачу. Громко хлопая, открывались настежь двери. На задних дворах развешанные для просушки свежeweыстиранные шторы перекашивались волна за волной через натянутые веревки, как прибой, накатывающий на берега.

В конце концов этот первозданно-сладостный день выманил на крыльцо две растерянные фигурки, словно появившиеся из швейцарских часов. Когда солнце прогрело старые кости, мистер и миссис Александер, два года просидевшие в четырех стенах, в духоте и запустении, ощутили забытое чувство: у них возле лопаток затрепетали крылья.

– Какой воздух! Дыши!

Миссис Александер втянула глоток воздуха и, резко развернувшись, обрушила свой гнев на дом:

– Два года! Сто шестьдесят пять пузырьков микстуры от кашля! Десять фунтов серы! Двенадцать упаковок снотворного! На компрессы – пять метров фланели! А сколько горчичного масла! Чтоб тебе провалиться!

Дом получил тумака. Повернувшись к весеннему дню, она раскрыла объятия. От солнечного света у нее брызнули слезы.

Каждый из них еще чего-то ждал, не в силах отрешиться от двух лет хворей и ухода за своей второй половиной: когда минуло шестьсот дней и ночей, их уже перестала угнетать – хотя по-прежнему печалила – неизбежная перспектива провести очередной вечер вдвоем, без людей.

– Пожалуй, мы здесь чужие.

Муж кивнул в сторону тенистой улочки.

Тут им вспомнилось, как они перестали отвечать на звонки в дверь и поднимать шторы, боясь, как бы внезапная встреча или вспышка яркого солнца не превратила их в пригоршню праха.

Но теперь, в этот искрящийся брызгами фонтана день, к ним словно по волшебству вернулось здоровье; почтенные мистер и миссис Александер

спустились с крыльца и направились в центр, как выходцы из подземного царства.

На подходе к главной улице мистер Александер изрек:

– Да мы еще хоть куда, рано ставить на себе крест. Мне всего-то семьдесят два, а тебе еле-еле семьдесят. Прощвырнусь-ка я по магазинам, Элма. Встретимся здесь через два часа!

Обрадовавшись возможности хоть какое-то время не видеть друг друга, они так и разлетелись в разные стороны.

* * *

Не пройдя и полквартала, мистер Александер заметил в витрине манекен – и остановился как вкопанный. Надо же, ну надо же! Солнце согрело кукольные розовые щечки, малиновые губки, лакированные голубые глаза, желтые нити волос. Мистер Александер с минуту простоял без движения, и вдруг позади манекена возникла настоящая девушка, расставлявшая товар на витрине. Подняв глаза, она увидела мистера Александера, который расплывался в улыбке, как слабоумный. Она улыбнулась в ответ.

«Какой день! – думал он. – Дыру смог бы в деревянной двери пробить кулаком. Кошку бы смог перебросить через здание суда! Эй, не отсвечивай тут, старик! Фу ты! Это отражение? Ну и ладно. О господи! Я оживаю!»

Мистер Александер зашел в магазин.

– Хочу кое-что у вас купить! – объявил он с порога.

– Что именно? – спросила миловидная продавщица.

С глупым видом он осмотрелся.

– Ну хоть шарфик, что ли. Точно, шарфик.

Он заморгал при виде вороха шарфов, который девушка выложила на прилавок с такой улыбкой, что сердце у него зашло от восторга и накренилось, как гироскоп, нарушив равновесие мира.

– Выберите на свой вкус. Какой вы бы сами стали носить.

Она выбрала шарфик под цвет своих глаз.

– Для вашей супруги?

Он протянул ей пять долларов.

– Прикиньте на себя.

Девушка не возражала. Он попытался представить, как из шарфика будет торчать голова Элмы, – не вышло.

– Оставьте себе, – сказал он, – это вам подарок.

Душа его пела, когда он выходил навстречу солнечному свету.
– Сэр, – звала продавщица, но он уже ушел.

* * *

Больше всего миссис Александер истосковалась по новым туфелькам; как только они с мужем разошлись в разные стороны, она шмыгнула в первый попавшийся обувной. Однако не сразу, а лишь после того, как опустила один цент в щель парфюмерного автомата, который выстрелил в ее цыплячью грудку огромным облаком летучей жидкости с запахом вербены. Окутанная этим ароматом, будто утренней дымкой, она устремилась в магазин, где учтивый молодой человек с томным взглядом карих глаз, аккуратными черными бровями и блестящими, как лак, волосами обхватывал ей лодыжки, легко касался подъема, поглаживал пальцы ног и вообще уделял так много внимания ее нижним конечностям, что они разгорячились и порозовели от смущения.

– Мадам, у вас самая миниатюрная ножка из тех, что я обувал в этом году. Исключительно миниатюрная.

Миссис Александер сидела в кресле как одно большое сердце, бившееся так громко, что молодому человеку приходилось перекрикивать:

– Просуньте ножку, будьте любезны! Может быть, желаете другого цвета?

Когда она выходила из магазина с тремя обувными коробками, он на прощанье коснулся ее левой руки и легонько сжал ей пальцы – не иначе как это был многозначительный жест восхищения. Миссис Александер сдавленно хохотнула и решила не уточнять, что уже много лет не носит обручальное кольцо, которое пылится неизвестно где, потому что руки отекают из-за болезней. На тротуаре она вновь прильнула к заряженному вербеной автомату, держа наготове еще один цент.

* * *

Пружинистой походкой мистер Александер шагал по улицам, приплясывая от удовольствия при встрече со старыми знакомыми, и в конце концов с ощущением легкой усталости задержался перед табачной лавкой «Юнайтед сигар». Там по-прежнему, как будто и не было тех семисот с лишним дней, стоял деревянный индеец, а рядом – мистер Блик,

мистер Грей и Сэмюел Сполдинг. Не веря своим глазам, они хватали мистера Александра за лацканы и хлопали по плечу.

– Алекс, да ты с того света вернулся!

– Вечером пойдешь в клуб?

– А как же!

– Устроим завтра тайную сходку?

– Непременно.

Приглашения, как шишки, сыпались на него со всех сторон.

– Как же я соскучился, братцы! – Он готов был каждого стиснуть в объятиях, даже индейца.

Ему предложили сигару, дали огонька, а потом затащили в соседнюю бильярдную, где столы для пула были обтянуты сукном цвета джунглей, и стали наперебой угощать пенным пивом.

– Через неделю, – перекрывая шум, провозгласил мистер Александр, – все к нам. Мы с женой приглашаем, друзья. Устроим барбекю! Выпьем, повеселимся!

Сполдинг сжал ему руку:

– Сегодня-то жена тебя не прибьет?

– Элма?! Еще чего!

– Ну-ну!

И мистер Александр устремился прочь, как подхваченный ветром клочок мха.

* * *

При выходе из обувного магазина Элму подхватила женская толпа. Ее увлекло в самую гущу распродажи, где женщины, разбившись на пары и тройки, одновременно болтали, смеялись, показывали друг дружке приглянувшиеся вещицы и делали покупки.

– Сегодня вечером, Элма. В клубе «Наперсток».

– Кто на машине – заезжайте за мной!

Запыхавшаяся и разгоряченная, она пробилась сквозь толпу, кое-как перешла через дорогу, оттуда оглянулась, как в последний раз оглядываются на океан, и заторопилась вдоль авеню, посмеиваясь и загибая пальцы по числу встреч, предстоящих на следующей неделе: в клубе на Элм-стрит, в Женской патриотической лиге, в кружке рукоделия и в любительском театре «Элит».

Два часа промелькнули незаметно. Куранты на здании суда пробили

один раз.

Переминаясь с ноги на ногу, мистер Александер недоуменно поглядывал на часы, время от времени встряхивая их и бормоча что-то себе под нос.

На противоположном углу стояла какая-то женщина, и, прождав десять минут, мистер Александер набрался смелости.

– Прошу прощения, у меня, кажется, часы барахлят, – заговорил он, подходя к тротуару. – Не подскажете точное время?

– Ой, Джон! – воскликнула она.

– Элма! – Он ахнул.

– Я уж давно тут стою.

– А я – вот там.

– Да у тебя новый костюм!

– Платье новое!

– И новая шляпа.

– И у тебя.

– Новые туфли.

– А *твои*-то удобные?

– Жмут.

– Ох, и мне.

– Элма, представь, я купил билеты на субботний спектакль! И еще получил для нас с тобой приглашение на городской пикник. Какие у тебя духи?

– А у тебя что за одеколон?

– Неудивительно, что мы друг друга не узнали.

Они обменялись многозначительными взглядами.

– Ну что ж, пора к дому. Чудесный день, правда?

Поскрипывая новыми туфлями, они двинулись по улице.

– Да, верно! – кивнули оба, заулыбавшись.

Тут они тайком покосились друг на друга и почему-то занервничали, поспешив отвести глаза.

Дом встретил их иссиня-черной тьмой: будто бы они из зеленой весенней свежести провалились в пещеру.

– Может, перекусим?

– Что-то аппетита нет. А у тебя?

– Да, у меня тоже.

– Мне так нравятся мои новые туфли!

– А мне – мои!

– Какие у нас планы?

- Может, в кино?
- Сначала надо бы прийти в себя.
- Да ты никак выдохлась?
- Нет-нет, – поспешно затараторила она. – А ты?
- Нет-нет! – быстро ответил он.

Опустившись в кресла, они наслаждались уютным домашним полумраком и холодком после яркого, теплого, слепящего дня.

– Пожалуй, ослаблю немного шнурки, – выговорил он. – Только узелки развяжу.

– Мне тоже не помешает.

Оба развязали узелки и ослабили шнуровку.

– А что это мы в шляпах сидим!

Не вставая, они сняли шляпы.

Глядя на нее, он думал: «Сорок пять лет. Сорок пять лет я на ней женат. А ведь до сих пор помню, как... и поездку в Миллс-Вэлли тоже помню... а вот еще был случай... сорок лет назад отправились мы... да... да. – Он покачал головой. – Много воды утекло».

– Не хочешь галстук снять? – предложила она.

– По-твоему, имеет смысл? Нам скоро выходить, – сказал он.

– Да ты на минутку.

Она смотрела, как он снимает галстук, а сама думала: «Живем душа в душу. Заботимся друг о друге. Когда я слегла, он меня с ложечки кормил, купал, одевал, все по дому делал... Вот уж сорок пять лет пролетело, а медовый месяц в Миллс-Вэлли словно на той неделе был».

– Сними ты эти клипсы, – посоветовал он. – Новые, как я понимаю? На вид тяжеловаты.

– Да, есть немного. – Она отложила клипсы в сторону.

Они устроились в привычных мягких креслах, возле обтянутых плотным зеленым сукном тумбочек, где громоздились упаковки пилюль и таблеток, пузырьки с арникой, всевозможные сыворотки, микстуры от кашля, ватные шарики, лубки, растирания для ног, бальзамы, лосьоны, масла, ингаляторы, аспирин, хинин, порошки, колоды засаленных игральные карт, выдержавших миллионы партий в очко, и еще книги, которые они вполголоса читали друг другу в тесной полутемной комнате при слабом свете одной-единственной лампочки, и голоса их трепетали, словно блеклые ночные мотыльки.

– Вообще говоря, туфли можно скинуть, – решил он. – Ровно на сто двадцать секунд, до выхода из дому.

– Это правильно, ноги должны дышать.

Они сбросили обувь.

– Элма...

– Что? – Она подняла глаза.

– Нет, ничего, – пробормотал он.

На камине громко тикали часы. Оба заметили, что каждый украдкой косится в ту сторону. Стрелки показывали два. До восьми вечера оставалось всего шесть часов.

– Джон...

– Да?

– Ладно, не важно, – сказала она.

Посидели еще немного.

– А где наши тапочки? – вспомнил он.

– Сейчас принесу.

Она сходила за тапочками.

Сунув ноги в приятно-прохладный войлок, оба выдохнули:

– Уффф!

– А что это ты до сих пор в пиджаке и жилете?

– И в самом деле. Новая одежда – как латы.

Он выбрался из пиджака, а через пару минут освободился и от жилетки.

Кресла слегка поскрипывали.

Через некоторое время она сказала:

– Надо же, четыре часа.

– Время-то как пролетело. Не поздновато ли выходить?

– Совсем поздно. Давай-ка лучше отдохнем. А к вечеру вызовем такси и съездим куда-нибудь поужинать.

– Элма... – Он облизал губы.

– Что?

– Забыл. – Его глаза обшарили стенку. – Надену, пожалуй, махровый халат, – решил он минут через пять. – Я мигом соберусь, когда нужно будет выходить. Закажем на ужин мясное филе, самую большую порцию.

– Правильно мыслишь, – согласилась она. – Джон?

– Ну говори. Что ты хочешь сказать?

Она взглянула на новые туфли, брошенные на пол. Ей вспомнились легкое поглаживание по щиколотке, ласковое прикосновение к каждому пальчику.

– Нет, ничего.

Слух каждого ловил сердцебиение другого. Кутаясь в махровые халаты, они тихо вздыхали.

– Что-то я подустала. Самую малость, понимаешь, – сказала она, – совсем чуть-чуть.

– Ничего удивительного. День-то какой выдался.

– Не бегать же нам сломя голову, правильно?

– Конечно, надо себя поберечь. Годы-то уже не те.

– Вот-вот.

– Я и сам немного утомился, – бросил он как бы невзначай.

– А что, если... – она посмотрела на каминные часы, – что, если мы вечером перекусим дома, чем бог послал? В ресторан ведь можно и завтра.

– Дельное предложение, – сказал он. – Тем более что я не так уж голоден.

– Как ни странно, я тоже.

– Но в кино-то сходим?

– А как же!

В потемках они, как мыши, подкрепились сыром и залежалыми крекерами.

Семь часов.

– Знаешь, – произнес он, – меня как будто подташнивает.

– Да что ты?

– И спина разболелась.

– Давай помассирую.

– Спасибо, Элма. Золотые у тебя руки. Любому массажисту сто очков вперед дашь: не слишком сильно, не слишком слабо, а именно так, как нужно.

– Ступни прямо горят, – пожаловалась она. – Боюсь, не дойду я сегодня до кинотеатра.

– Ничего, в другой раз, – сказал он.

– Я вот что думаю: сыр-то у нас не испортился? Изжога разыгралась.

– Ага, ты тоже заметила?

Каждый покосился на тумбочку с лекарствами.

Семь тридцать. Семь сорок пять.

– Почти восемь.

– Джон!

– Элма!

Они заговорили одновременно.

И от неожиданности рассмеялись.

– Ну, что ты хотел?

– Нет, давай ты.

– Нет, ты первый.

Оба помолчали, слушая тиканье часов и глядя на стрелки; сердцебиение участилось. Лица побледнели.

– Плесну-ка себе мятного сиропа, – сказал мистер Александер. – От желудка помогает.

– А потом ложечку мне передай.

В потемках они причмокивали губами, довольствуясь тусклым светом единственной лампочки.

Тик-так, тик-так, тик-так.

На дорожке перед домом послышались шаги. Кто-то поднялся на крыльцо. Зазвонил звонок.

Они оба замерли.

В дверь снова позвонили.

Хозяева затаились в тишине.

Звонок принимался дребезжать шесть раз.

– Не будем открывать, – дружно решили муж с женой и, вздрогнув от очередного звонка, охнули.

Они смотрели друг на друга в упор и не двигались.

– Вряд ли это что-нибудь серьезное.

– Разумеется, ничего серьезного. Начнутся пустые разговоры, а нам отдыхать нужно.

– Вот именно, – подтвердила она.

Звонок не унимался.

Под очередную трель мистер Александер принял еще одну ложечку мятного сиропа. Его жена налила себе воды и проглотила белую пилюлю.

Звонок сердито взвизгнул и умолк.

– Пойду гляну, – шепнул мистер Александер. – Из окошка в холле.

Оставив жену, он вышел. Тем временем Сэмюел Сполдинг повернулся спиной и уже начал спускаться по ступенькам. Мистер Александер не смог припомнить его лица.

Из окна гостиной тайком смотрела миссис Александер. У нее на глазах с тротуара свернула ее приятельница по клубу «Наперсток», которая столкнулась на дорожке с незадачливым посетителем, сошедшим с крыльца. Эти двое остановились. В тишине весенних сумерек зазвучали приглушенные голоса.

Разговор явно касался хозяев: гости окинули взглядом дом.

Вдруг они расхохотались.

И еще раз посмотрели на темные окна.

Не солоно хлебавши мужчина с женщиной вышли на тротуар; смеясь, переговариваясь и качая головами, они шагали под освещенными луной

деревьями, пока не скрылись из виду.

Вернувшись в комнату, мистер Александер обнаружил, что жена уже приготовила тазик с теплой водой, чтобы они вместе могли попарить ноги. Кроме того, она принесла запасной пузырек арники. Муж слышал, как из крана течет вода. Выйдя из ванной, жена распространяла вокруг себя запах мыла, а не терпкий аромат вербены.

Они опустили ноги в тазик.

– Сдать, что ли, билеты на субботний спектакль? – задумался мистер Александер. – И приглашения на пикник тоже. До выходных еще дожить надо.

– И то верно, – сказала жена.

Казалось, весенний день канул в прошлое миллион лет назад.

– Интересно, кто это приходил? – спросила она.

– Понятия не имею, – ответил он, потянувшись за мятным сиропом. И немного отпил. – Не перекинуться ли нам в очко, хозяйюшка?

Едва заметным движением миссис Александер сменила позу.

– Отчего ж не перекинуться? – сказала она.

Красавица

Казалось, и дня не проходило, чтобы кто-нибудь не вспоминал: «Хороша была, как роза саронская, свежа, как майский ландыш». «Походка у нее была, что у принцессы. Гуляет, бывало, вдоль озера – и малейшее дуновение ветерка тут же стирает следы, вот какой легкий отпечаток оставляли ее ступни». Эти голоса преследовали его круглый год. «Случалось ли тебе майскою порой зарыться в подушку из листьев мяты?» «Случалось ли видеть, доводилось ли чувствовать жаркой летней ночью, как белоснежную занавеску вдруг задувает к тебе в спальню живительной прохладой? А слышал ли ты, как стучится первый осенний дождик в крышу твоего дома?» Кто-нибудь да непременно вспоминал эту красавицу, пытаясь описать, что же было в ней особенного. «Да только это все равно что описывать красный или синий цвет тому, кто их отродясь не видывал». Но всякий раз кто-нибудь делал новую попытку.

– Не бывает такой красоты! – возражал Джордж Грей. – Вы мне портрет покажите!

– Пятьдесят лет прошло, – отвечали ему. – Если всю округу перевернешь вверх дном, может, и отыщешь, да и то вряд ли. А умерла она молодой. Считай, весь город пришел с ней проститься, с девятнадцатилетней, никому не доставшейся. Как было ее не любить – уж очень была хороша.

У Джорджа Грея рассказы стариков вызывали то восхищение, то досаду.

– Вон Хелен идет: похожа на нее? – Он указывал рукой.

Но те только качали головами с едва заметным и потому простительным оттенком превосходства. Как-никак они в Лондоне бывали, королеву видели. А он, сердечный, дальше Чикаго и Канкаки не выбирался.

– Вот еще миленькая девушка, просто прелесть, – говорил Джордж, кивая на некую Сюзанну, проезжавшую мимо в машине.

– Это цветок без аромата, – замечали старики. – Нынче многие девушки похожи на такие цветы. Дотронешься – а они бумажные, никуда не денутся. Элис не суждено было долго жить, она была как первый снег. Выглянешь из окна декабрьским утром – летит, а поймать не поймаешь. И на лугу дожидаться не станет, не бывать этому.

– Боже мой! – досадовал Джордж. – Хватит вам!

Ему исполнилось всего лишь двадцать, и с каждой женщиной, что

сидела на крыльце, когда он шел мимо, или махала рукой из автобуса, его связывал несостоявшийся роман. Он вечно ходил кругами и натыкался на деревья. Он не раз падал вниз, будто провалился в шахту лифта, и больно ударялся о дно, но так и не встретил той, которую искал. В каждой был небольшой изъян: у одной нос длинноват, у другой уши не такие, у третьей рот не закрывается.

– Вам легко говорить, – бурчал он. – Память все на свой лад переиначивает. Умножает на два, на три, а то и на четыре! Пройди сейчас Элис Лэнгли по этой улице – вы бы ее и не узнали.

– Это все равно что сказать, – отвечал старик Пирс, – будто я не распознаю прозрачную бабочку. Сам-то небось и не видывал такую – водится она в тропических лесах Мексики: крылышки у нее точно кто-то из стекла выдул или из хрусталя вырезал. Опустится такая на цветок – и станет цветком, на персик – станет персиком, а бабочку-то не сразу заметишь, это вглядываться надо в хрустальные крылышки, насквозь видеть. Так что не рассказывай мне, парень, кого я узнаю, а кого не узнаю: я-то видел бабочку с хрустальными крылышками, а ты нет. Пошли-ка лучше шахматы подвигаем.

* * *

Джордж Грей впадал то в ярость, то в отчаяние. Он сгорал от желания увидеть эту розу, эту бабочку, эту первую примету зимы, потому что больше всего он преклонялся перед красотой. Если и вправду эта девушка была так прекрасна, как все говорили, – хоть бы взглянуть на нее одним глазком! Но этому не суждено было сбыться, ибо персик сорвали, а яблоневый цвет развеяло ветром полвека назад. Стоит ли гоняться за прошлогодним снегом? Вот потому-то пыл его и сменялся то отчаянием, то яростью, а то еще и особым скепсисом, в котором любят поупражняться двадцатилетние.

– Да вы передергиваете! – воскликнул он. – Колода у вас крапленая!

– Не спорю; зато червонная дама – подлинная, – отвечал старик Пирс, – ни царاپинки, ни пятнышка. – И раскуривал трубку.

– Я докажу, что она была не так уж прекрасна! – вскричал Джордж.

– Каким же образом?

– Разыщу фотографии! Если, конечно, вы их не сожгли, чтобы покрыть свои выдумки.

– Мальчик мой, – начал мистер Пирс, – две тысячи человек просто так

не приходят на похороны одинокой девушки. Какие события заставляют их собраться вместе: завершение железнодорожного строительства, когда в последнюю шпалу вбивают золотой гвоздь; приведение к присяге нового президента; приземление самолета, на котором человек в одиночку пересек Атлантику. Это все события из ряда вон выходящие, неповторимые, ни на что не похожие, уникальные, единственные в своем роде. Вот такой и она была, мальчик мой, так что не сомневайся.

– А я докажу, что она была не так уж прекрасна, как вы говорите, – просто вы все были молоды и глупы, вот как я сейчас, – ответил Джордж.

– Это умно, – согласился старик. – Особенно последнее утверждение.

– Даже если мне придется найти ее могилу и раскопать, чтобы самому удостовериться! – продолжал Джордж.

Старик не стал раскуривать трубку, и она погасла. Он долго сидел молча в летнем сумраке, а потом сказал:

– Джордж, Джордж. Ты беспощаден. Говорят, молодость вообще жестока. Но только сейчас я увидел это воочию. Ты злодей! Что на тебя накатило? Год какой-то особенный? Или с Сюзанной расплевались месяц назад?

– Я не злодей, я реалист, – ответил Джордж, закуривая сигарету.

– Когда человек произносит такие слова, это значит, что вся злость выпирает из него наружу. Не смей даже заикаться, что потревожишь мисс Элис. Немыслимая, отвратительная затея, речь вурдалака, безумца. И вдобавок это совершенно неоправданно. Что можно найти в гробу – косточку от сливы, кожу, сброшенную аспидом, пучок соломы, горстку шелухи? Одно дело – пшеничное поле в августе, напоенное солнцем и ветром, и совсем другое – колючее ноябрьское жнивье. Можно ли сравнивать хлеба и отаву?

– Я просто хочу доказать, что вы не правы, – сказал Джордж.

– Ты еще мальчишка, – ответил Пирс. – В обличье мужчины. Чего доброго, грохнешься на пол и закатаешь истерику!

– Я найду способ, – сказал Джордж, бесшумно и торопливо затягиваясь сигаретой, – уж я-то найду способ.

– Джордж, – выговорил старик, сидя за шахматной доской, – уходи-ка ты от греха подальше. Нет у меня желания доигрывать партию. Определенно, ты на солнце перегрелся. Сам не знаешь, что говоришь. Вот успокойся, тогда и приходи. Побегай под дождем – помогает. Спокойной ночи.

– Ага, испугались, – невозмутимо усмехнулся Джордж. – Испугались, что я ее у вас украду, верно? Вы боитесь правды, боитесь, как бы я не

доказал, что она вовсе не была такой, как видится сейчас. Я заставил вас пойти на попятную. Припугнул.

– Спокойной ночи, Джордж, – повторил старик бесконечно усталым голосом и не шевельнулся.

– Спокойной ночи, – откликнулся Джордж, спускаясь по ступенькам крыльца.

Засунув руки в карманы, он шел по улице с гордо поднятой головой и насвистывал какой-то мотив, прерываемый лишь ухмылкой.

* * *

– Соглашайся, Джек, что тут такого?

– Ты чокнутый, Джордж!

– Никто не узнает. Зато я успокоюсь.

– Джордж, брось ты эту затею! Бога ради! Не дури, Джордж.

– Небо чистое, ночью будет в меру прохладно и в меру тепло.

– А дело-то грязное и не в меру отвратительное.

– Растерял кураж?

– Уж на кладбище я его точно не найду, черт побери, а тем более в могиле приличного человека!

– Старики вечно заносятся, пора поставить их на место.

– А что им еще остается? Плюнь, Джордж. Не парься. Чего ты добиваешься? Много ли у них радостей? Зачем лишать их последнего, объясни?

* * *

Гроб зиял пустотой.

Вернее, сначала показалось, что там пусто. Но потом дуновение ветерка всколыхнуло несколько предметов. И Джордж Грей, склонившись над могилой, опустил глаза и стал рассматривать эти предметы, пересчитывать, выговаривать их названия, которые запомнились ему на долгие годы; и злость отхлынула – он почувствовал, как она стекает у него из глаз, изо рта, слетает с губ, сочится из-под ребер и спинных мышц. Он не сопротивился, когда она растаяла, будто одежда из тонкой папиросной бумаги, смытая дождем и обнажившая его тело.

Потому что в могиле находилось вот что.

Молодой побег зеленого папоротника, мягкий, как вздох. Свежий листок летней мяты. Спелый августовский персик, согретый теплом цветущей ветви. Живая лиловая фиалка. Алая роза. И тонкая летняя травинка.

Больше ничего.

У всего было свое неслучайное место: у зеленого папоротника – одно, у персика – другое, у алой розы и летней травинки – третье; вместе они образовывали очертания, форму, сущность. Стоя над могилой, Джордж Грей внезапно увидел мысленным взором весь тот день, до мельчайших подробностей: был там и мистер Пирс, и еще полдюжины стариков, и хранитель этой необъятной, безмолвной территории за оградой с железными воротами: все они сообща, под палящим солнцем, копали, примерялись, рассчитывали, планировали, закидывали землей, а потом ходили кругами, закинув лопаты на плечо, и улыбались. А для чего? Чтобы обратить неверующего в свою веру, принять в свой клан последнего в городе скептика и циника. Чтобы он придержал язык, перестал сомневаться и не сыпал угрозами. Джордж взглянул на другой конец этого мраморного поля: там возвышалась труба маленького домика с топкой, откуда все еще поднималась в небо тонкая ниточка дыма.

В последний раз он обвел взглядом цветы, и неокрепший зеленый папоротник, и тонкую травинку. Потом бережно опустил крышку и начал закидывать ее землей, размеренно и бесшумно.

К полуночи он добрался до начала своей улицы. В пять минут первого, проходя мимо дома старика, Джордж услышал, как его окликнули. Он поднялся на крыльцо.

- Здравствуй, Джордж, – поприветствовал его старик.
- Здравствуйте, – неуверенно ответил он.
- Джордж, – помолчав, спросил старик, – ты все еще чувствуешь в себе желчь и досаду?
- Я великолепно себя чувствую, – ответил Джордж.
- Ты изменил свое мнение после нашей последней встречи? – спросил старик. – Что ты теперь думаешь?

И Джордж ответил:

- Она красавица. Богом клянусь, прекраснее не видел никого на свете.
 - Отрадно это слышать, Джордж, – сказал старик, – отрадно слышать.
- А знаешь что, приходи-ка завтра вечером – сразимся в шахматы.
- Приду, сэр.
 - Разгромлю тебя в пух и прах, сынок!
 - Не сомневаюсь, сэр.

– Ну что ж, спокойной ночи, Джордж.

– Спокойной ночи, сэр.

Джордж спустился по ступенькам и зашагал своим путем, оставив старика сидеть в темноте. Он шел не оборачиваясь, лишь молча помахал рукой, когда тот вдогонку еще раз пожелал ему спокойной ночи, а когда Джордж распахнул дверь своего дома, его лица вдруг легко-легко коснулась ночная бабочка – и тотчас исчезла, будто ее и не было.

Приворотное зелье

В доме жили только эти двое, старухи-сестры, обе тихие, как пауки, и большие, как матрацы, набитые временем, пылью и снегом. Кто проходил вечером мимо их дома, видел в неосвещенном окне либо их физиономии, белевшие фарфоровыми тарелками, либо руки, потянувшиеся вверх, чтобы опустить зеленые жалюзи. Из-за окон не доносилось ни звука, если не считать сухого шороха газетных страниц. Мисс Нэнси Джиллетт и ее сестра Джулия выходили на открытую веранду подышать воздухом в четыре часа утра, пока город еще ничем себя не обнаруживал, и попадались они на глаза разве что полицейскому, который удалялся от одинокого неяркого фонаря, грозя дубинкой своей собственной тени, которая убегала от него в сторону освещенной улицы.

Вообще говоря, ничего сверхъестественного не было в том, что Элис Фергюсон, не сомкнувшая глаз в эту летнюю ночь, наморщила лоб и, даже не смахнув с верхней губы росинки пота, вышла пройтись вокруг квартала (чего бояться, если безмятежный и похорошевший городок залит лунным светом, а тебе восемнадцать лет и потому все нипочем) – и заметила старушек Джиллетт, которые в два часа ночи коротали время в млечном полумраке: поблескивая колючими глазками и сложив на бюстах-подушках пухлые фарфоровые руки, они мерно раскачивались в креслах-качалках, чтобы не замучила астма, – одни, совсем одни.

От неожиданности Элис даже вздрогнула, но потом вспомнила байки про их добровольное пожизненное заточение, помахала рукой и окликнула через лужайку, повернувшись лицом к серебристой от росы веранде:

– Добрый вечер!

Через некоторое время кресла-качалки перестали раскачиваться, и одна из сестер отозвалась:

– Доброе утро.

Элис Фергюсон рассмеялась:

– И правда, уже утро. Ну, тогда доброе утро.

Сестры молча закивали.

– Чудесная ночь, – сказала Элис Фергюсон.

– Ты – Элис Фергюсон, – выговорила одна из старушек.

– А вы откуда знаете?

– Тебе восемнадцать годков.

– Да. – Она смешалась.

– Подойди-ка поближе, дитя мое, – сказала сидевшая в тени Нэнси Джиллетт, превосходившая сестру возрастом и тучностью.

Ступив на залитую мягким лунным светом траву, Элис приблизилась к перилам веранды и вгляделась в едва различимые лица.

– Да ты влюблена, – произнесла Нэнси Джиллетт страшным шепотом.

– А вы откуда знаете?

Сестры опять начали раскачиваться и со значением переглянулись.

– Нет, откуда вы знаете? – не унималась Элис Фергюсон.

– А он тебя не любит, – сказала Нэнси Джиллетт.

– Ох... – вырвалось у Элис.

– Ты себе места не находишь, вот и блуждаешь по ночам, – сказала вторая сестра каким-то странным голосом.

Элис понуро стояла у перил, подрагивая ресницами.

– Не горюй, дитя мое, не горюй, – зашептала Нэнси Джиллетт, отрывая руки от необъятной груди. – Ты пришла туда, куда нужно.

– Я не собиралась...

– Ш-ш-ш, мы тебе поможем.

Элис заметила, что и сама перешла на шепот, и они вдвоем превратились в ночных заговорщиц, кутающихся во мрак и лунный свет, как в черный бархат, подбитый белыми соболями.

– А как? – прошептала она.

– Дадим приворотное зелье.

– Но ведь...

– И это приворотное зелье, дитя мое, ты унесешь с собой.

– У меня не хватит...

– О деньгах речи нет, дитя мое.

– Не верю я...

– Поверишь, дитя мое, непременно поверишь, когда оно подействует.

– Мне неудобно...

– Нас обременять? Да нам это ничего не стоит. Оно у нас под рукой, в доме, верно я говорю?

– Верно. Верно.

– Пойду я.

– Нет, погоди. – Сестры перестали раскачиваться и вытянули руки перед собой, на манер гипнотизеров или канатоходцев.

– Поздно уже.

– Ты ведь хочешь покорить его сердце, правда?

– Хочу.

– Вот и славно. Инструкция – на этикетке. Неси флакончик, сестра.

Через считанные мгновения, уплыв с веранды необъятным призраком, младшая сестра вернулась с поблескивающим зеленым флаконом и поставила его на перила. Рука Элис потянулась сквозь лунный свет.

– Прямо не знаю...

– Не сомневайся, – шепнула Нэнси Джиллетт. – Попытка не пытка, уж ты нам поверь. Когда тебе восемнадцать, оно от всех бед помогает. Бери.

– А что там?..

– Да ничего особенного. Сейчас покажем.

И Нэнси Джиллетт вытащила из недр своего бюста сложенный платочек, словно отрывая его от себя. Вслед за тем она расстелила его на перилах, где посветлее, и воздух тотчас же наполнился травяным ароматом лугов и полей.

– Белые цветы – чтобы задобрить луну, летний мирт – для звезд, сирень – для дождей, красная роза – для сердца, грецкий орех – для ума, недаром он похож на мозг, понимаешь? Кристальная вода из быстрого весеннего ручья, чтобы дело шло быстрее, и веточка перечной мяты, чтобы согреть его кровь. Квасцы, чтобы унять его страх. И капелька сливок, чтобы твоя кожа виделась ему лунным камнем. От платка веет всеми этими снадобьями, а вот и сам флакон.

– Неужели поможет?

– Еще как поможет! – воскликнула Нэнси Джиллетт. – Для того и приготовлено, чтобы он бегал за тобой, как щенок, до скончания века! Лучше нас никто не умеет смешивать приворотное зелье. Чтоб ты знала, Элис Фергюсон, мы над этим трудимся с тысяча девятьсот десятого года – вот сколько у нас было времени, чтобы оглянуться назад, пораскинуть умом и ответить, почему за нами никто не ухаживал, не предлагал руку и сердце. А ответ – здесь, в этом платочке, в разных снадобьях, и если нам самим уже поздно, так пусть хоть тебе поможет. Вот, бери.

– А до меня кто-нибудь его пробовал?

– Что ты, дитя мое, конечно нет. Такое зелье кому попало не дается, по бутылкам не разливается. Мы за свою жизнь чем только себя не занимали: и ажурные салфеточки вязали – в доме их пруд пруди, и мудрые изречения в рамочки вставляли, и покрывала вышивали, и марки собирали, и монеты коллекционировали, каких только дел себе не придумывали – и живопись, и ваяние, а под покровом ночи работали в саду, чтобы никто не приставал с расспросами. Ты видела наш сад?

– Да, он чудо как хорош.

– Так вот: не далее как на прошлой неделе – мне как раз семьдесят стукнуло – работаем мы с Джулией в саду и видим, как ты бредешь мимо

по ночной улице сама не своя. Тут я Джулии говорю: не иначе как из-за парня. А Джулия мне: помочь бы ей в сердечных делах. Сама я в это время розовый куст подстригала; срезала розу и отвечаю: почему же не попробовать? Стали мы ходить по саду и выбирать нежнейшие ростки – даже сами помолодели, приободрились. Запомни, Элис: розовая вода оживит его чувства, листочки мяты пробудят интерес, дождевая вода смягчит язык, а щепотка эстрагона растопит сердце. Подлей ему в содовую, в лимонад или в чай со льдом одну каплю, потом две, три – и можешь брать голыми руками.

* * *

– Я так тебя люблю, – выдохнул он.
– Не понадобилось, – сказала она, доставая флакон.
– Ты из пузырька отлей малость, прежде чем назад нести, – посоветовал он, – чтобы их не обидеть.
Она выплеснула немного жидкости.
И понесла флакон обратно.

* * *

– Подлила ему в питье?
– А как же!
– Вот и хорошо – увидишь, что будет дальше.
– Теперь и мы отхлебнем.
– Правда? Я думала, оно делается для мужчин.
– Так и есть, милая. Мы только на пробу. И будем смотреть сны про нашу юность.

Обе отпили из флакона.

На рассвете ее разбудил вой сирены, прорезавший зеленые улочки. Выглянув из окна, она увидела то же самое зрелище, что видели другие горожане – и запомнили на долгие годы. У себя на веранде мисс Нэнси и мисс Джулия Джиллетт при свете дня – слыханное ли дело? – замерли без движения с закрытыми глазами, свесив руки по бокам и криво приоткрыв рты.

Чем-то каждая походила на пустой чехол, из которого вытащили стальной клинок. Такая мысль мелькнула не только у Элис Фергюсон, но и

у зевак, что столпились возле дома, и у полицейских, и у следователя, протянувшего руку за темно-зеленым пузырьком, который весело поблескивал на перилах.

Ночная встреча

Другого такого вечера он бы не припомнил за всю свою жизнь. Было еще совсем не поздно, солнце только закатилось, в воздухе упоительно пахло свежестью, но почему-то его затрясло – ни с того ни с сего накатила незримая, тайная дрожь нетерпения, почти предвкушения. Он добрался до автопарка и зашагал среди стана автобусов: все своим чередом, рутинная проверка, полный бак, педаль газа, тормозные колодки, выезд на линию – а дрожь так и не отпускала. На дорогах никаких аварий, вечер ясный, движение спокойное, пассажиров – раз-два и обчелся. Втягивая в себя соленый воздух, он проезжал сквозь океанское спокойствие улиц и ощущал в дыхании ветра нечто такое, что всегда выдает весну, при любом раскладе, в любое время суток.

Было ему под сорок; надо лбом уже намечались небольшие залысины, виски слегка тронуло росчерками серебра, шею над воротником прорезали первые борозды. Он привычно крутил баранку, а время уже близилось к одиннадцати – душный час, теплый весенний вечер и дрожь по всему телу. Глаза невольно стреляли по сторонам, не упуская ничего примечательного, но более всего радовали взгляд неоновые вывески – ни дать ни взять лимонное мороженое и зеленая мята; как же хорошо выбраться из своей тесной конуры, как славно ехать привычным маршрутом.

На конечной остановке он вышел покурить у береговой полосы и с беспокойством отметил, что вода светится.

Вглядываясь в океанскую даль, он вспомнил, как точно такой же ночью ему объяснили причину этого свечения: в воде живут миллионы, триллионы крошечных живых организмов, которые кишат, бурлят, плодятся, давая жизнь мириадам себе подобных, и тут же умирают. От этой весенней любовной лихорадки вода вспыхивает зеленым, а местами – кораллово-красным, и так вдоль всего побережья, до самого Сан-Франциско в северном направлении, до Акапулько в южном, а некоторые поговаривали, что и до Перу, – кто его знает, кто подтвердит?

Докулив сигарету, он еще немного постоял у волнолома, явственно чувствуя, как из одежды выветривается затхлость убогого жилища. Но руки, сколько ни держи их под краном, оставались будто засаленными от старой колоды пасьянсных карт, помогавших убить время.

Вернувшись в автобус, он слегка прогрел движок, бубня какой-то мотив. В салоне было пусто; значит, ему предстоял порожний рейс по

сонным улицам. Он разговаривал сам с собой, напевал себе под нос, чтобы часы тикали побыстрее, и двигался через тенистые, освещаемые луной кварталы к той точке, откуда вскоре можно будет отправиться домой, чтобы рухнуть на узкую койку и полдня спать, а завтра в шестнадцать ноль-ноль начать все сначала.

На четвертой остановке он задержался, поднял все оконные рамы в пустом салоне и оставил гореть только пару лампочек. Ветер летним половодьем хлынул в открытые шлюзы окон, и теперь автобус на ходу трубил, как морская раковина. Колеса шуршали по лунному свету, а серебристый асфальт плыл вдоль молочных бульваров, среди бархатно-черных теней.

На семнадцатой остановке он едва не проскочил мимо ожидавшей автобуса девушки.

Хотя она стояла на виду, он так углубился в свое дыхание и улыбку, что пролетел добрых двадцать ярдов вперед – ей даже пришлось немного пробежаться, прежде чем войти в открытую дверь.

Он извинился, она опустила монетки в звенящую серебром кассу и села наискосок от кабины, где он краем глаза мог ее видеть в зеркале верхнего вида. В полумраке она сидела неподвижно и прямо, сложив руки на коленях и сдвинув ноги; ветер шевелил ее длинные волосы.

И он влюбился.

Вот так, предельно просто. Влюбился в эту девушку, совсем юную, сидевшую наискосок от него, белокожую, как млечный цветок, всю аккуратную, ладненькую, чистую. Ее темные волосы развевались на ветру, как дым, а она сидела так спокойно, так безмятежно, не догадываясь о своей красоте и молодости. В начале вечера она нанесла на кожу капельку духов, но их аромат почти выветрился и теперь едва уловимо витал в воздухе. Она светилась счастьем, как будто в ее жизнь этой ночью вошло нечто значительное; личико сияло, глаза блестели, на ходу ее слегка раскачивало из стороны в сторону, и на поворотах она придерживалась за поручень.

«А ведь я ее люблю, – подумал он и сам удивился. – Как это ни смешно, я ее люблю».

Он уже знал, какой у нее голос – нежный и ласковый, и как она будет держаться, и как себя поведет когда бы то ни было, в любых обстоятельствах. Это было видно по ее глазам и по мягким движениям рук. Да и лицо ее не горело огнем, не замыкалось в себе, а освещало все вокруг лучистым сиянием. От него напивались другие. От него в автобусе стало светлей. В нем отражался он сам и целый мир.

«Тебе это известно? – мысленно спрашивал он, обращаясь к ее отражению в зеркале. – Знаешь ли ты, как я тебя люблю? Догадываешься?»
Они мчались летними улицами в полночную сторону.

* * *

Потом до него дошло. В каждом мужчине, даже если это ему невдомек, даже если мыслей таких нет, теплится образ женщины, которую ему суждено полюбить. Из чего сплетается ее образ – из всех мелодий, звучавших в его жизни, из всех деревьев, из друзей детства, – никто не рискнет сказать наверняка. Чьи у нее глаза: не его ли родной матери; чей подбородок: не двоюродной ли сестры, которая четверть века назад купалась с ним в озере, – никому не дано этого знать. Но почитай, каждый мужчина носит при себе этот портрет, словно медальон, словно перламутровую каменю, но извлекает на свет редко, а после свадьбы даже не притрагивается, чтобы избежать сравнений. Не каждому случится встретить свою суженую, разве что промелькнет она в темноте кинотеатра, на страницах книги или где-нибудь на улице. Да и то после полуночи, когда город уже спит, а подушка холодна. Этот портрет соткан из всех снов, из всех женщин, из всех лунных ночей со времен творения.

* * *

«Сказать ей? – спрашивал он себя. – Как подступиться?»

Теперь она закрыла глаза и откинулась на спинку, вспоминая прошедший вечер.

«Если бы ты знала», – подумал он и пришел в смятение. Оставалось всего девять остановок. В любую минуту она могла дернуть за шнур звонка и уйти в ночь. А ему останется выбор – то ли ни с того ни с сего ее окликнуть, то ли промолчать. «Меня зовут Уильям Беккер, а тебя? Где ты живешь? Когда мы увидимся?»

Восемь остановок. Не вставая с места, она сменила позу и стала смотреть в окно.

«Меня зовут Уильям Беккет. Я тебя люблю», – повторял он.

Ее рука потянулась к шнуру.

«Нет», – молча взмолился он.

Тишину пререзал звонок. Она поднялась с места, и он направил автобус к остановке. Можно, конечно, приехать сюда утром. Стоять и ждать, пока она не появится, а потом сказать ей... сказать...

По его лицу пробежала легкая судорога, оно поднялось к зеркалу, потом обратилось вперед, где тянулась дорога, а в листве красовалась луна. Он понял, что не сможет прийти сюда утром.

Когда автобус остановился, она уже стояла у выхода. Дожидалась, когда он откроет дверь. Немного помедлив, он заговорил:

– Меня...

Она полуобернулась в его сторону, и лицо ее вместило все, что грезилось ему вечерами, когда он в свободные часы гулял у моря.

От нажатия на пневматическое реле дверь с шипением отъехала в сторону; пассажирка вышла и стала удаляться по лунной дорожке среди деревьев.

Даже имени ее не знаю, подумал он, даже голоса ее не слышал. Не закрывая дверь, он провожал ее взглядом по темной улице. Даже не посмотрел, есть ли у нее на пальце кольцо, думал он.

Потом он закрыл дверь и продолжил путь; ему вдруг стало очень холодно, руки на руле затряслись, глаза не разбирали дороги. Пришлось съехать на обочину и закрыть все окна, чтобы не было сквозняка. Через полчаса, проезжая в обратном направлении все той же улицей, он убедился в отсутствии транспорта и нажал на газ; впереди него была только луна, а позади – пустой автобусный салон, и он спешил, спешил, говоря себе: «Если не тормозить, скоро буду на побережье, а там, коли повезет, увижу еще раз, как светится вода, покурю, воздухом подышу – и назад, пустым через пустой город».

Кто-то умер

В гостиной витала смерть: то появлялась, то исчезала. Она была у всех на устах, у каждого перед глазами. Кофейный торт отправлялся в желудок, дабы легким достало сил поддерживать беседу о смерти. Кофе забелили сливками и подсластили сахаром, чтобы смягчить грядущую неизбежность. За столом сидели четверо: они наперебой сообщали друг другу, кто, как и отчего, сыпали именами, датами, цифрами, примерами мук и страданий, подробностями агонии, ночной потливости, переломов, нагноений, комы и трахомы.

Миссис Хетт подцепила кусок торта большой, пухлой рукой, словно ковшом экскаватора. Ей даже пришлось на миг прервать рассказ о том, как агонизировал мистер Джозеф Лэнтри, приходившийся ей добрым другом. Она пошире разинула рот, обнажив сероватые десны зубных протезов, вдоль которых тонкой полоской пенилась слюна, и откусила изрядную часть лакомства. Пережевывая и глотая бисквит, грозно сверкая глазами, она живописала подробности кончины мистера Лэнтри, не упуская ни одной мелочи. У бедняги открылось кровохарканье. А кашель был такой, будто это грохотала в метель печная заслонка, – оглушительный, натужный, кошмарный. На щеках у него лежал смертельный румянец. Ее голос звучал все громче. Когда дело дошло до его последних мгновений, она откинулась на спинку стула, затрясла головой и прикрыла глаза, всем своим видом привычно показывая, что такая жестокость судьбы выше ее понимания. Расправляясь с десертом, она брызгала слюной и крошками торта, будто бросала комки сырой земли на крышку гроба мистера Лэнтри.

– Бедный мистер Лэнтри, – изрекла через стол, откуда-то из полумрака, миссис Сполдинг.

– Ох, не говори, – поддакнул мистер Сполдинг.

– Что ж поделаешь, – сказал мистер Хетт, помешивая черный кофе.

Для приличия все помолчали. У миссис Хетт в голове тикал потайной хронометр: каким-то чудом он безошибочно определял тот промежуток времени, после которого не грех продолжить беседу. Да и то сказать: покойника следует уложить чин по чину, засыпать подобающими словами и паузами, а уж потом приниматься за следующего – хоть в алфавитном, хоть в каком другом порядке. Нужно только научиться подрагивать веками и безвольно опускать руки по сторонам от десертной тарелочки, выказывая тем самым неизбывную тоску и скорбь.

Миссис Сполдинг воспользовалась этой паузой, чтобы предложить гостям еще торта.

Мистер Хетт попыхивал трубкой.

– А знаете ли вы, сколько времени мы не сживали за одним столом? Двадцать лет. Все разъезды, разъезды. Сегодня вернулись в город и думаем: а застанем ли мы вас, чертяки, в живых?

Все дружно посмеялись: приятно иногда перехитрить саму смерть.

– Что хорошего произошло в городе, пока нас не было?

– Помните Билла Сэмюелсона? Умер.

– А что у него было?

– Пневмония, – сообщил мистер Сполдинг.

– Дифтерия, – поправила миссис Сполдинг.

Мистер Сполдинг встретился глазами с мистером Хеттом.

– Хелен Ферри, Том Фоули, Генри Мастерсон – все приказали долго жить.

– А как там... эта... Элейн Филлипс? – Мистер Хетт осторожно покосился на жену. Жена хлопнула ресницами.

– Элейн Филлипс? – переспросил мистер Сполдинг. – А ты не слыхал? Как вы с Литой поженились, она тут же подала на развод и уехала жить в Огайо.

– Вот оно как, – только и сказал мистер Хетт.

Жена испепелила его взглядом.

– А через год ее не стало, – добавил мистер Сполдинг.

– Что? – вскричал мистер Хетт.

Миссис Хетт одарила кроткой улыбкой стену и достала платочек, чтобы промокнуть нос. Платочек скрыл от мужа ее губы. Сам мистер Хетт устался на ковер.

Теперь женщины могли без помех перебрать имена.

Гасси Сондерстром? Жив куда. Так-так. Беренис Холдридд? Умерла. *Так-так!* Талита Мартин? Скончалась! Кто бы мог подумать? Каждый уход отмечался вздохами; короткие смешки и возгласы удивления помечали каждое дерево, которое еще скрипело, но стояло и зеленело. Милдред Партридж? Лили Джонсон? Элна Сундквист? Умерла, умерла, умерла.

Миссис Хетт, преобразившись в некую Сильвию Гэмвелл, забежала в кафе при аптеке, съела кусочек недоброкачественного пирожного, доковыляла до автобусной остановки и рухнула замертво, чем обрекла себя на вскрытие, свидетелями которому стали мистер Хетт и чета Сполдинг. Тщательное исследование показало: у нее в организме скопилось такое количество яда, образовавшегося из протухшего крема, что изо всех

внутренностей буквально вырывались фосфоресцирующие пары, напоминавшие об огнедышащих драконах. Миссис Хетт столь достоверно изобразила предсмертную агонию мисс Гэмвелл, что остальные сочли за лучшее перебраться от стола на диван.

– А нечего ходить в низкопробные кафешки, – отрезала миссис Хетт.

– Я, например, торты всегда сама делаю, – сказала миссис Сполдинг. – Лучше уж дома умереть, по своей вине!

– Ну-ну. – Миссис Хетт запила хохот глоточком кофе. – Моя подруга Элма как-то сделала домашний маринад из овощей. Не могла нарадоваться, что свадьбу решили справлять дома, в субботу; а через десять дней женишок ее уже гулял с другой и знай посылал венки на городское кладбище.

Один из мужчин поинтересовался:

– Как твой бизнес, Уилл?

– Не жалуюсь, – ответил другой. – Курить людям всегда охота, даже в трудные годы.

– Между прочим, я когда-то заболела, попив обыкновенной воды, – сообщила миссис Хетт. – Вы в школе смотрели в микроскоп? В каждой капле воды кишит миллион паразитов. Открывая водопроводный кран, мы набираем в стакан миллиарды этих тварей.

Со смертью как таковой было покончено. Теперь настало время прогнозов. Каждого из горожан предстояло подвергнуть обсуждению, чтобы вынести суровый вердикт. Ничего не стоило прикинуть, сколько еще протянет мистер Талмедж, проскрипит Нэнси Джиллетт и продержится Элеанора Свифт. Все трое уже высохли, как щепки, губы скривились после инсульта, руки стали на ощупь ледяными. Все поставили на мистера Талмеджа, будто на ярмарочного силача.

– По моему убеждению, он доживет... лет этак... до семидесяти... нет! До семидесяти пяти!

Миссис Хетт презрительно сощурилась.

– Милая моя, да он вот-вот рассыплется в прах, как лампочка, брошенная об стену. В чем только душа держится! Он и полгода не протянет. Равно как и Нэнси Джиллетт – как раз сегодня ее видела!

Вскоре прогнозы сделались безмянными. От личностей разговор перекинулся на смертельные случаи в масштабах страны.

В гостиной бились самолеты. Факелами вспыхивали железнодорожные составы. Мужчины преспокойно курили свежие сигары под молчаливые вопли жертв. Даже не стараясь увернуться, они ровно сидели на задницах в мягких креслах, а подле них сталкивались машины и

тела пассажиров лепешками впечатывались в стену.

– ...обгорел так, что опознать не смогли...

– ...споткнулась на рельсах и упала... прямо под колеса поезда... собрали по кусочкам...

– А вот еще в Меллинтауне одна женщина... Муж приходит домой... а она в постели... с другим... Ну, муж и пристрелил их обоих, а потом сам застрелился.

Пока женщины ахали и обдавали друг дружку своим дыханием, как запахом духов, мужчины неторопливо вели прямой, откровенный разговор без всяких экивоков.

– Помнишь Чарли Несбитта – он еще выбросил загоревшийся матрас из отеля «Кларк» при всем честном народе? Умер в прошлом году.

– Старина Чарли – не могу поверить! – Они переглянулись. – А мы-то с тобой еще небо коптим. Что тут скажешь...

Женщины содрогались, кудахтали и как полоумные хохотали над чем попало. Сообща они перевернули несколько автомобилей, вытряхнули останки пассажиров и пристально рассмотрели. Изображая из себя следователей, собрали по частям зловещую головоломку – расчлененный труп жестоко изнасилованной девушки. В завершение каждого эпизода они прихлебывали кофе, чтобы прополоскать рты, и заводили все сначала.

Наконец, когда энтузиазм сошел на нет, а кофейник опустел, они заерзали и вскоре затронули вопрос, который в тот осенний вечер буквально висел в воздухе.

О самих себе. О собственном самочувствии.

Ах, миссис Хетт все еще мучилась желчнокаменной болезнью, но старалась бодриться.

У миссис Сполдинг тоже были причины для беспокойства. Она твердо знала, что у нее рак желудка. А как *мистер* Хетт? Здоров?

Мистера Хетта преследовал радикулит.

Ох, мистер Сполдинг тоже страдал радикулитом, да еще как. Бывало, после девяти утра совершенно не мог спать.

– Какие мелочи, право! – Миссис Хетт победно улыбнулась. – Вот мистер Хетт иногда лежит в постели аж до полудня!

– Разумеется, – произнесла миссис Сполдинг, поправляя прическу, – мы с Леонардом собираемся дожить до глубокой-глубокой старости. У нас и наследственность хорошая.

– У нас тоже, – мгновенно парировала миссис Хетт.

Миссис Сполдинг загибала пальцы.

– Моя мать дожила до восьмидесяти пяти, отец – до девяноста...

– По-моему, ты говорила, что он скончался в шестьдесят три года...
– Кто? – Визгливо. – Папа? – Смех. – Ничего подобного. В девяносто лет был как огурчик!

– А кто же у вас в роду стал инвалидом в шестьдесят лет?
– Инвалидом? – Во взгляде миссис Сполдинг – неподдельное изумление. – А! Ты, наверное, перепутала его с кузиной Вильмой. То есть с моей троюродной сестрой Вильмой...

– Неважно. – Миссис Хетт повела плечами. – У меня в роду все жили до девяноста. У Билла – то же самое. Нам обеспечена долгая-долгая жизнь.

– Было бы здоровье. Что за радость долго жить, если будешь мучиться всякими болячками. Хорошо, если камни в желчном пузыре тебя не доконают.

– В этом месяце мне их удалят. А у Билла радикулит со временем вылечат. Ты, дорогуша, смотри, как бы тебя саму рак не доконал.

– Господи, да какой это рак? Просто слегка пучит, мне ли не знать.

Они разглядывали друг дружку: у одной глаза ничуть не яснее, чем у другой, столько же седины в волосах, такие же глубокие морщины, одинаковое душевное и физическое равновесие. Ни одну не радовало такое положение дел.

– Ладно, спасибо за вечер. – Миссис Хетт ни с того ни с сего вскочила, избегая встречаться глазами с хозяйкой. – Надеюсь застать вас через пять лет, когда мы опять приедем в город. – Чопорная улыбочка.

– Вы, главное, сами приезжайте, а за нас не волнуйтесь. – Сухо.

Мужья тоже поднялись со своих мест, выпуская колечки сизого дыма и обмениваясь теплыми стариковскими взглядами. Как водится, они солидно, неторопливо пожали друг другу руки.

– Ну, бывай, Уилл.

– Бывай, Лео!

Неловкость.

– Вы непременно приезжайте. – Оба уставились в пол. – Если я в скором времени с тобой не увижусь... короче говоря, здоровья тебе.

– И тебе того же.

– Вас, мужиков, послушаешь – так можно подумать, мы прямо старые развалины.

Все рассмеялись. Хозяева помогли гостям надеть пальто, некоторое время все переминались с ноги на ногу и долго прощались в дверях, а когда машина мистера Хетта отъезжала от дома в полуночный уличный мрак, Сполдинги махали вслед.

Стены гостиной пожелтели от никотина, оставшегося после

разговоров о смерти. Дом помрачнел, отрезанный от мира, и под значительным давлением выпустил из себя воздух. Мистер и миссис Сполдинг некоторое время кружили по гостиной, словно на карусели, вытряхивая пепельницы, собирая посуду и щелкая выключателями.

Почти беззвучно, если не считать легкого покашливания, вроде того, что издает старый двигатель, мистер Сполдинг поднялся по лестнице. Когда в спальне появилась его жена, возбужденная после приема гостей, он уже лежал под одеялом. Поблескивая в темноте легкой полуулыбкой, она легла рядом.

Через некоторое время она услышала его вздох.

– Паршиво себя чувствую, – признался Леонард Сполдинг.

– А что такое? – спросила жена.

– Сам не знаю, – простонал он. – Плохо мне. Настроение паршивое.

– Какая жалость.

– А все ты и эта чертовка миссис Хетт. Господи, я еле высидел. Уилл-то приличный мужик, но вы с ней – как шарманки. Боже, весь вечер трендели без умолку. – Из темноты донесся его жалобный, по-стариковски усталый стон.

Жена обиделась.

– Так ведь к нам теперь никто не заходит.

– Мы уж не в том возрасте, чтобы приемы закатывать, – слабо вякнул он. – У стариков одно на уме. Вы как завелись, так весь вечер остановиться не могли, ей-богу!

– Ну почему же, мы не...

– Да угомонись ты, – взмолился он, съездившись у нее под боком, как сморщенный младенец. – Спать не даешь.

Минут пять они молча лежали в потемках. Потом она отвернулась – похолодевшая, неподвижная, с плотно сомкнутыми веками. И прежде чем ей перестать на него злиться и уйти в сон, как в теплый ночной дождь, до ее слуха донеслись откуда-то издалека два трудноразличимых женских голоса.

«Я моему Биллу такие похороны устроила, каких в округе отродясь не бывало. Цветы? Море! Я прямо слезами обливалась. Сколько было народу? Весь город».

«Видела бы ты, как отпевали моего Лео. Он лежал прямо как живой, будто уснул. Много ли было цветов? Горы! Повсюду, повсюду! А народу!»

«Это что! Вот моего Уилла провожали так... Хор исполнил “Прекрасный остров Где-Нибудь”».

«А народу!» – «А цветов!» – «А пели как!»

Теплый дождь забарабанил ей по темечку. Она погрузилась в сон.

У меня есть, а у тебя нету!

Эгги-Лу не могла дожждаться, когда же появится Кларисса, которая на большой перемене прибежала домой обедать. Кларисса, десятилетняя девочка с косичками, жила по соседству и во всем была ее соперницей.

Перегнувшись пополам, Эгги-Лу высунулась из окна навстречу солнышку и окликнула:

– Кларисса, поднимайся ко мне!

– Ты почему прогуливаешь? – крикнула в ответ Кларисса, досадуя, что ее вечная противница валяется в постели, вместо того чтобы изнывать на уроках.

– Поднимайся – узнаешь! – ответила Эгги-Лу и нырнула в кровать.

Кларисса взлетела по лестнице, размахивая связкой учебников, перетянутой сжатым в чумазом кулачке ремнем.

Эгги-Лу откинулась на подушки, закрыла глаза и, довольная собой, объявила:

– У меня кое-что есть, а у тебя нету!

– Говори, – насторожилась Кларисса.

– Захочу – скажу, не захожу – не скажу, – лениво протянула Эгги-Лу.

– Ладно, я пошла обедать, – бросила Кларисса, не поддавшись на провокацию.

– Тогда не узнаешь, что у меня есть, – сказала Эгги-Лу.

– Ну говори же ты! – рассердилась Кларисса.

– Палочка! – гордо объявила Эгги-Лу.

У Клариссы даже опустились брови.

– Что?

– Палочка. Бактерия такая. Микроб.

– Подумаешь! – Кларисса равнодушно помахала книжками. – Микробы у всех есть. И у меня в том числе. Вот, полюбуйся. – Она растопырила обе перепачканные пятерни, весьма далекие от стерильности.

– Снаружи – не считается, – возразила Эгги-Лу. – У меня-то микробы внутри, это совсем другое дело!

Наконец Клариссу проняло.

– Внутри?

– Бегают по дыхательным путям – папа так говорит. А сам улыбается как будто через силу. И доктор тоже. Они сказали, эти микробы обосновались у меня в легких и там проедаются.

Кларисса уставилась на нее как на великомученицу с темными косичками, у которой на фоне крахмальных простыней светится нимб.

– Ничего себе!

– У меня доктор взял эти микробы на анализ и посмотрел через специальный прибор – они так и кишели прямо у него перед носом. Понятно?

Кларисса так и рухнула в кресло. Ее личико залила бледность, но щеки вспыхнули. Превосходство Эгги-Лу явно вывело ее из равновесия. Рядом с этим достижением померкла даже бабочка-данаида, которую Кларисса с поросычьим визгом поймала у себя на заднем дворе, чтобы натянуть нос Эгги-Лу. Такой триумф стоял в одном ряду с выходным платьем Клариссы, украшенным воланами, нежными розочками и бантами. По важности он намного превышал родство Клариссы с дядей Питером, который умел выстреливать из беззубого рта коричневые плевки и ходил на деревянной ноге. Подумать только, микробы! Настоящие микробы, внутри!

– Вот так! – заключила Эгги-Лу, с похвальным усилием сдерживая свое торжество. – Я теперь вообще в школу не пойду. Ни арифметику учить не буду, ничего!

Клариссу будто оглушили.

– И это еще не все. – Самую главную новость Эгги-Лу приберегла на конец.

– Что там еще? – мрачно спросила Кларисса.

Эгги-Лу молча обвела взглядом комнату и уютно свернулась под теплыми одеялами. Через некоторое время она проговорила:

– Я скоро умру.

Клариссу так и подбросило в кресле, и ее волосы разметались в соломенном изумлении.

– Что?

– Что слышала. Я скоро умру. – Эгги-Лу со значением улыбнулась. – Вот так тебе, чтобы не воображала!

– Это ты сейчас придумала, Эгги-Лу! Врунья несчастная!

– А вот и нет! Не веришь – спроси у моих родителей или у доктора Нильсона! Они тебе скажут! Я скоро умру. И у меня будет самый шикарный гроб. Папа так решил. Ты бы слышала, как он теперь со мной разговаривает. Придет вечером, сядет вот в это кресло, где ты сидишь, и берет меня за руку. Мне его почти не видно, только глаза. Странные какие-то. И у нас начинается беседа. Он говорит, что гроб у меня будет золоченый, изнутри атласная обивка, настоящий кукольный домик. И кукол можно будет с собой взять, он обещал. А для моего кукольного домика он

купит участок земли, и я там смогу играть без помех, вот так-то, Воображуля! Причем место будет высокое, чтобы я царила над всем миром. И вообще, и вообще, и вообще, я буду самая красивая и в куклы буду играть сколько захочу. У меня будет нарядное зеленое платье, как у тебя, и бабочка-данаида, и встретит меня не какой-нибудь там дядя Питер, а настоящий АПОСТОЛ Петр.

Кларисса сидела с каменным лицом, сгорая от нестерпимой зависти. У нее навернулись слезы, и она в нерешительности поднялась с кресла, не сводя глаз с Эгги-Лу.

Со сдавленным криком она бросилась прочь из комнаты, кубарем скатилась по лестнице, выскочила на свет весеннего дня и, заливаясь плачем, побежала по газону к себе домой.

Как только Кларисса захлопнула за собой входную дверь, ее окружили аппетитные запахи маминой кухни. Мама резала яблоки и укладывала их в подготовленную форму для шарлотки; Кларисса получила выговор за дверной грохот.

– Ну и ладно! – Дочка поерзала розовыми панталончиками по обеденной скамье. – Какая все-таки вредина Эгги-Лу!

Мама Клариссы подняла глаза.

– Вы опять за свое? Сколько раз тебе сказано...

– Она собралась умирать и теперь сидит в кровати и дразнится, дразнится. Вообще уже!

Мать выронила кухонный ножик.

– Ну-ка, ну-ка, повтори, что ты сказала, милая моя?

– Она скоро умрет и теперь надо мной издевается! Мама, ну скажи, что мне делать?

– Что тебе делать? Сейчас? Или когда? – Немое замешательство. Мать вынуждена была сесть на стул; ее пальцы судорожно теребили фартук.

– Надо ей помешать, мама! Чтобы этого не произошло!

– Это в тебе говорит доброта, Кларисса. Ты такая заботливая.

– При чем тут доброта, мама! Ненавижу ее, ненавижу, ненавижу!

– Что-то я не поняла. Если ты ее ненавидишь, то почему собираешься ей помешать?

– Не помогать же ей!

– Но ведь ты сама сказала...

– Мама, ты мне только хуже делаешь! – Она горько расплакалась, кусая губы.

– Одно слово – девчонки. Вас не разберешь. Ты хочешь помешать Эгги-Лу или не хочешь?

– Хочу! Обязательно надо ей помешать! Чтобы ничего у нее не вышло. Чтобы не хвасталась своей... палочкой! – Кларисса замолотила кулачками по столу. – Чтобы не задавалась: «У меня есть, а у тебя нету!»

У матери вырвался вздох.

– Ах вот оно что. Кажется, понимаю.

– Мама, а можно, я умру? Только первой! Чтобы ей утереть нос. Пусть завидует!

– Кларисса! – Под ситцевым фартуком кремосьбивалкой зашло сердце. – Как у тебя язык повернулся! Нельзя говорить такие вещи! Прямо беда с тобой!

– Почему это нельзя? Ей можно, а мне нельзя?

– Да что ты знаешь о смерти? Это совсем не то, что ты думаешь.

– А что это?

– Ну, как сказать... это... это... Господи, Кларисса, что за дурацкий вопрос. Ничего ужасного в этом нет... Естественное явление. Да, вот именно, естественное явление.

Мать разрывалась между двумя правдами. Ведь у детей своя правда – неискушенная, одномерная, а у нее своя, житейская, слишком обнаженная, мрачная и всеохватная, чтобы открывать ее милым несмышленным созданиям, которые с залиvistым смехом бегут в развевающихся ситцевых платицах навстречу своему десятилетнему миру. Тема и в самом деле щекотливая. Как и многие другие матери, она решила уйти от грубых реалий в область фантазии. Бог свидетель, о хорошем говорить проще; да и зачем ребенка травмировать? Поэтому она дала Клариссе такое объяснение, которого та ждала *менее всего*. Она сказала:

– Смерть – это долгий, крепкий сон и, скорее всего, с разными интересными видениями. Вот и все.

Каково же было ее удивление, когда дочка взбунтовалась хуже прежнего:

– В том-то и дело! Что обо мне ребята в школе подумают? Эгги-Лу надо мной смеяться будет!

Мать резко поднялась со стула.

– Ступай к себе в комнату, Кларисса, и больше меня не дергай. Свои вопросы задашь позже, но сейчас, ради бога, дай мне собраться с мыслями! Если Эгги-Лу действительно умирает, мне нужно немедленно зайти к ее маме!

– А можно сделать так, чтобы Эгги-Лу не умерла?

Мать заглянула ей в глаза. В них не было ни понимания, ни сочувствия – только блаженное неведение и первобытная зависть, а еще детское

желание неведомо чего, неведомо в каких размерах.

– Да, – не своим голосом сказала мать. – Нужно сделать все, чтобы Эгги-Лу не умерла.

– Ой, спасибо тебе, мамочка! – торжествующе воскликнула Кларисса. – Мы ей устроим!

Мать вяло улыбнулась, прикрывая глаза:

– Уж постараемся!

* * *

Миссис Шеперд подошла к дому Партриджей с черного хода и постучалась в дверь. Ей открыла миссис Партридж.

– О, здравствуй, Элен.

Миссис Шеперд пробормотала что-то нечленораздельное и переступила через порог, еще не надумав, что сказать. И только присев на угловой диванчик, выдавила:

– Я только что узнала про Эгги-Лу.

Натужная улыбка исчезла с лица миссис Партридж. Она медленно опустилась рядом.

– Мне не хочется об этом говорить.

– И не нужно, ни в коем случае. Я только подумала...

– О чем?

– Глупо, конечно. Но я усомнилась, правильно ли мы воспитываем своих детей. Может, внушаем не то, что нужно, или молчим о чем-то важном.

– Не понимаю, – сказала миссис Партридж.

– Видишь ли, Кларисса завидует Эгги-Лу.

– Странно. Чему завидовать?

– Ты же знаешь, как устроены дети. У одного появляется какая-то штука, ни хорошая, ни плохая, ни даже мало-мальски стоящая, а из нее раздувается бог весть какое чудо, чтобы другие позавидовали. Дети готовы на все, лишь бы добиться своего. Чтобы вызвать зависть других, придумывают любые уловки, вплоть до смерти. На самом деле Кларисса совершенно не хочет... не хочет... болеть. Просто ей... так кажется. Она понятия не имеет, что такое смерть. Никогда с ней не сталкивалась. Нашу семью бог миловал. Бабушки, дедушки, дяди, тети, двоюродные братья-сестры – все живы. Лет двадцать никто не умирал.

Миссис Партридж, углубившись в себя, стала рассматривать жизнь

своей дочери, словно куклу.

– Мы тоже кормили Эгги-Лу байками. Она еще так мала, а теперь случилась эта напасть, вот мы и решили ее подготовить – мало ли что...

– Но пойми: это вызывает трения.

– Это примиряет ее с жизнью. А иначе моей девочке было бы неоткуда черпать силы, – произнесла миссис Партридж.

Миссис Шеперд сказала:

– Ну ладно, тогда скажу дочери, что все это выдумки – пусть не верит ни единому слову.

– Это необдуманно. – Миссис Партридж вернулась к действительности. – Она тут же прибежит и расскажет Эгги-Лу, и тогда Эгги-Лу начнет... в общем, это будет неправильно. Понимаешь?

– Но Кларисса переживает.

– Зато она здоровый ребенок. От переживаний ничего с ней не сделается. А у бедной Эгги-Лу пусть останется хоть капелька радости.

Миссис Партридж упорствовала – у нее была своя правда. Миссис Шеперд нехотя согласилась, что до поры до времени лучше не вмешиваться.

– Но все-таки Кларисса сильно нервничает.

* * *

В ближайшие несколько дней Эгги-Лу не раз видела, как Кларисса в нарядном платье идет по улице; когда Эгги-Лу окликала ее из окна, та оборачивалась и, сияя непривычной безмятежностью, отвечала, что идет в церковь помолиться о здоровье Эгги-Лу.

– Кларисса, заходи ко мне, заходи! – кричала Эгги-Лу.

– Послушай, Эгги-Лу, – увещевали родители, – стоит ли обижаться на Клариссу, ведь она так внимательна, постоянно ходит в церковь, а это не ближний свет?

Эгги-Лу так и подпрыгивала в кровати, бормоча что-то в подушку.

Когда появился новый врач, Эгги-Лу оглядела сначала его самого, потом блестящий шприц и спросила:

– А этот откуда взялся?

Выяснилось, что доктор приходится двоюродным братом мистеру Партриджу и испытывает какое-то лекарственное средство, которое он тут же вколол Эгги-Лу, причем безболезненно, не страшнее комариного укуса.

– Его не Кларисса подослала? – спросила Эгги-Лу.

– Она самая – прожужжала все уши своему папе, и он телеграммой вызвал этого доктора.

Эгги-Лу стала яростно тереть место укола:

– Я так и знала, так и знала!

Среди прохладной ночной темноты, не слезая с кровати, Эгги встала на колени и воздела глаза к потолку:

– Боженька, если к Тебе обратится Кларисса – не слушай. Она только гадости замышляет. Ведь это мое дело – о чем для себя просить, правда же? Вот именно. Не слушай Клариссу, она вредина. Спасибо Тебе, Боженька.

В ту ночь она всеми силами старалась умереть. Что есть мочи стискивала зубы, ждала, когда над губой выступят соленые капли, и слизывала их языком. Потом, сжав кулаки, вытягивала руки вдоль туловища и застывала металлической струной. Слушала, как бьется сердце, и пыталась его остановить – если не руками, то хотя бы ребрами, хотя бы легкими, – ведь можно же остановить часы, которые своим тиканьем не дают человеку спать в соседнем доме.

Разгорячившись и тяжело дыша, Эгги-Лу отбросила одеяло и осталась лежать, вся мокрая от пота. Прошло еще немало времени, и она подкралась к окну: в соседнем доме свет горел до зари. Она легла на пол и попыталась умереть. Перебралась в кресло и поупражнялась там. Скрючивалась так и этак, но все понапрасну: сердце тикало, как веселый будильник.

Иногда к ней под окошко прибегала Кларисса.

– Я в речке утоплюсь, – заводила она.

Или:

– Вот объемся и лопну.

– Заткнись! – бросала ей Эгги-Лу.

Тогда Кларисса начинала стучать о землю красным мячиком и ловить его из-под ноги: раз-два-три-четыре, и раз, и два. А сама нараспев приговаривала:

– Вот пойду и утоплюсь, прыгну с крыши – разобьюсь, обожрюсь и лопну, вот пойду и утоплюсь.

Стук, стук, стук, прыгал мячик.

Бабах! – это с грохотом захлопывалась оконная рама в спальне Эгги-Лу.

Нырять под одеяло, Эгги-Лу всякий раз морщила лоб. А вдруг Кларисса и впрямь что-нибудь такое выкинет? Из вредности. Зачем тогда стараться умирать? Эгги-Лу терпеть не могла плестись в хвосте. Ей всегда хотелось отличаться от других. Пусть только Кларисса попробует ее обскакать!

Но дела складывались как нельзя хуже. Эгги-Лу пошла на поправку. В

небе светило желтое солнце, которое слепило глаза и разгоралось все жарче. Радостно пели птицы. В воздухе чудилось брожение весны. А как было признаться маме? Мама тут же сообщит Клариссе, а Кларисса начнет: «Ха-ха, хи-хи, ой, не могу, ха-ха, хи-хи, ну что, съела?» Эгги-Лу с ужасом поняла, что свет надежды угасает: она медленно, но верно выздоравливала. Знал ли об этом врач? Догадывалась ли мама? Как можно такое допустить? Рано еще. Да-да, еще не время.

А между тем ей не терпелось выскочить на солнышко, побегать по траве, попрыгать через скакалку, забраться на пахнущее свежей листвой дерево – да мало ли еще дел. Но она держала язык за зубами. Притворялась, будто тяжело больна и вот-вот умрет. Ее даже стала посещать крамольная мысль, что золоченый дом на пригорке не особенно-то и нужен, да и без кукол можно обойтись, и без нарядного платья – лишь бы выздороветь.

Но как быть с Клариссой – она ведь задрознит, стоит только встать на ноги? Просто невыносимо!

В следующий раз, как только Кларисса розовой заводной игрушкой запрыгала по траве, Эгги-Лу окликнула ее презрительным улюлюканьем.

– Умру в четверг, в три часа пятнадцать минут. Доктор определил. Он мне и гроб на картинке показал – красивый!

Через несколько минут Кларисса, уже в пальто и шапочке, бежала в сторону церкви, торопясь отвести беду.

Возвращалась она в сумерках; Эгги-Лу высунулась из окна и ехидно прошелестела:

– Мне совсем плохо!

Кларисса досадливо топнула ногой.

* * *

Утром на одеяло села муха. Она ползала туда-обратно, пока Эгги-Лу ее не прибила. Муха, подергавшись, замерла. И больше не издала ни звука. Не жужжала, не двигалась.

Когда отец принес на подносе завтрак, Эгги-Лу показала на муху и задала свой вопрос.

Отец кивнул:

– Да, она умерла.

Похоже, он не придавал этому ни малейшего значения: мысли его были заняты чем-то другим. А муха – она и есть муха.

В одиночестве разделавшись с завтраком, Эгги-Лу тронула муху пальцем, но та не шелохнулась.

– Ты мертвая, – объявила ей Эгги-Лу. – Ты мертвая.

Битый час она не сводила взгляда с этой мухи – и пришла к определенному выводу:

– Да она ничего не делает. Валяется тут – и все.

– Глупость какая, – сказала Эгги-Лу еще через сорок минут. – Что в этом интересного?

Посмотрев в окно, откуда виднелся дом Клариссы, она откинулась на подушку, закрыла глаза, и вскоре ее губы тронула довольная улыбка.

* * *

Как случилось, что через три дня с Клариссой стряслась беда, – никто не понял. Несчастный случай произошел в среду. Спустя трое суток после того, как Эгги-Лу из окна сообщила Клариссе о своей неминуемой смерти, Кларисса с другими девочками выбежала на улицу играть в софтбол – туда, где уже играли мальчишки.

Они делали длинные броски – из-за этого все и случилось.

Гомер Филиппс со всей дури запустил мяч через три базы; Кларисса бросилась ловить – и тут из-за угла вывернул автомобиль; Кларисса двигалась бесшумно, и только машина смогла ее остановить – просто сбила.

Кто виноват – то ли сама Кларисса, то ли водитель, – об этом можно спорить до хрипоты, но ясности все равно не будет. Одни говорят: Кларисса не посмотрела налево, другие утверждают: посмотрела, но ее будто подтолкнули вперед.

Она пушинкой взлетела над капотом. Упала и разбилась.

* * *

Вечером в спальню Эгги-Лу поднялась мама.

– Эгги-Лу, должна рассказать тебе о Клариссе.

– А что о ней рассказывать? – Эгги-Лу затаила дыхание.

Через два месяца Эгги-Лу пришла на кладбище, взобралась на пригорок, прислушалась к неподвижному молчанию Клариссы и для верности бросила на могилу пригоршню червей.

Первопроходцы

Ноги ждали взаперти, томясь в кожаных темницах. За каждой из тысячи дверей изнывали ноги, а день полыхал зеленым, желтым, голубым – день был как необъятная цирковая афиша. Деревья изо всех сил старались запечатлеть свои кроны в белизне облаков, похожих на летний снег. На тротуарах жарились муравьи; трава колыхалась зеленым океаном. Поеживаясь в душной темноте, ноги просто изнемогали, побелевшие от зимнего ожидания и ставшие уязвимыми за шесть месяцев неволи, – маленькие и большие, голенастые и крепкие. То тут, то там возникали сначала робкие, а потом нудные споры о том, какое на дворе время года, какая температура воздуха и какова вероятность схватить насморк, если только-только закончилась зима или, с другой точки зрения, весна. Да ведь сейчас, канючили упрямые голоса, уже зеленое лето и погодка вон какая солнечная. А ноги в потемках нетерпеливо шевелили пальцами, комкая ткань носков.

Сразу же за скрипучим крыльцом папоротники орошали воздух зелеными брызгами. Дальше ждали бескрайние луга с нежными головками клевера и дьявольскими колючками; под дубами таились прошлогодние желуди и муравьиные владения. Вот по этой-то зеленой стране и тосковали ноги. Как мальчишеское тело в знойный июльский день жаждет оказаться у водоема, так и ноги сами собой устремляются к океану охлажденных дубами трав, к морю свежего клевера и росы.

Как нагие мальчишеские тела прыгают белыми камешками в далекую пригородную речку и качаются на волнах, словно невесомые пробки, так и ноги хотят нырять и плавать в прохладе летних лугов.

Ладно, сказал женский голос, ладно. Створка двери скользнула в сторону. Будь по-твоему, сказал тот же голос, но если ты простудишься и умрешь, потом не приходи ко мне хлюпать носом.

Шмыг! За дверь! Через перила! Глядь на папоротники! И бултых в травяное озеро! Под раскидистые дубы! Башмаки долой – и бегом по росе, потом обсушиться и проветриться под сенью яблони, дуба или вяза, а после – взапуски по горячим безлюдным тротуарам и опять в прохладе лип, в зеленый лед с ментолом – а уж там ноги зареются, как пара зверьков, в прелую листву, накрывшую прошлогодние розовые лепестки и муравейники. Важный и настырный большой палец, еще белый, просверлит холодноватую темную землю, его меньшие собратья уцепятся

за молочно-розовые бутоны клевера и замрут, а разгоряченные ступни утонут в свежем приливе травы. Потом будет еще полно времени, чтобы с осторожностью разведать старые кострища и каменистые тропы, где засели враги – осколки бутылочного стекла, коричневые или бледно-прозрачные, которые только и ждут, чтобы вонзиться в пятки, утратившие твердость после зимней неволи. Потом будет еще полно времени, чтобы эти зефирные подушечки загрубели, как воинственные индейцы, и приобрели боевую раскраску из грязи, синяков и ссадин.

Но сейчас, сейчас – скорее в прохладную траву. В прохладную траву, вместе с тысячью других босых ног – и бегом, бегом.

Пес

Был он точь-в-точь как наш городок. Если наш городок рассмотреть под увеличительным стеклом, а потом сжать, свести к самой сути, обнаружили бы те же приметы, запахи и осадки.

Днем и ночью слонялся он по улицам или трусил куда глаза глядят – то луна увлекала его ночными приливами, то солнце выманивало на свет, как резную фигурку из швейцарских часов. Вырос он небольшим: пристегни к нему ручку – и неси, как черный саквояж. Был кудлат, словно оброс медной ватой, стальными мочалками, стружкой и щетками. Молчать не любил – никогда не упускал случая подать голос.

Возвращаясь ночами со стылого озера, он приносил в шерсти запах озерной воды. Пошастав среди дюн, оставлял под кроватью холмики мелкого песка. Пахло от него июньскими дождями, и октябрьским кленовым листом, и рождественским снегом, и апрельскими ливнями. То жаркий, то холодный, он был переменчив, как погода. И тащил ее в дом из всех своих вылазок, долгих и кратких. Случалось, тянуло от него медью: выискивая пяточки, не заплывавшие табачной жвачкой, он приваливался к медным шестам пожарного депо, а потом прибежал домой, взбудораженный политическими спорами. А то еще шел от него запах мрамора: это он сновал у здания суда, среди холодных могильных плит. Если от него несло смазочным маслом, значит, валялся он в ремонтной зоне у бензоколонки, прячась от летнего зноя. С январского мороза вплывал таким именинным тортом в белой глазури. В июльскую жару плелся лапа за лапу, вялый, как тушеный кролик, но зато приносил в пружинно-жесткой шерсти известия о событиях мирового значения.

Но сильнее всего рвался он в Самую Гущу Событий – туда, где звенели мальчишечьи крики и прыгали тени: с довольной мордой, свесив из пасти влажный язык, он носился как угорелый, и на голове у него скользящей шапочкой всегда белела детская ладонь.

Река, что стремилась в море

Каждый вечер он целует маму, обхватывая ее, большую, теплую и добрую, своими ручонками, трется о шершавую щеку отца, пахнущую табаком и всякими механизмами, потом бежит в ванную комнату и там останавливается как зачарованный с тайным письмом в руках, готовясь отправить его в путь. Письмо гласит: «Здравствуй, Русалочка! Меня зовут Том Сполдинг, я живу в штате Иллинойс, город Гринтаун, улица Саут-Сент-Джеймс, дом 11, и мне...»

Сейчас он нажмет на рычажок слива воды. Мощная лавина, холодная и чистая, с ревом хлынет вниз по кафельному желобу. В самый последний момент он бросит тайное письмо в исчезающую реку. Поток вскоре иссякнет. Наступит тишина. Записка исчезнет. Он постоит еще немного, рассуждая: письмо уже в пути, оно плывет к морю. Теперь можно идти спать. Интересно, она уже читает мое письмо, думает он, лежа в кровати. Вот бы узнать.

Лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети, лети!

Из детства ему запомнилась такая забава: нужно было подбросить до самой крыши желтый каучуковый мячик, чтобы он завис на фоне летнего иллинойского неба и запрыгал по черепице вниз с другой стороны, а ребята при этом кричали: «Лети, лети, лети! Лети, лети, лети!»

И в какой-то момент начинало казаться, что так подзывают собаку: «Тилли, Тилли, Тилли! Тилли, Тилли, Тилли!»

А в семь часов, когда приглушенный стук тарелок сообщал о том, что мама занялась мытьем посуды, они располагались на ковре из вечерних теней, накрывшем влажную от росы лужайку, и начиналась игра.

– Придумать слово? – переспрашивала Хильда, потряхивая пшеничными кудряшками. – Ммм... – Она морщила нос, покуда с него не исчезали веснушки. – Может, «пурга»?

Остальные семеро пробовали слово на вкус. Обменивались сумеречно-вопросительными взглядами.

– А что, нормально, – говорил кто-нибудь один.

– Годится, – соглашались остальные. – «Пурга» подходит.

– «Пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга!» – заводили все хором. – «Пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга, пурга!»

Потом все разом умолкали, сдерживая смех, и кто-нибудь говорил:

– Что это такое? «Пурга»? Разве есть такое слово? Дикость какая-то! Такого слова нету!

Проектор

У него в голове был такой специальный кинопроектор, и, ложась спать, он крутил себе фильмы – сеанс начинался, когда гасили свет, а заканчивался, когда слипались глаза, не в силах больше смотреть на экран, где мелькали ведьмы, чудовища, крепости и туманные моря. Он крутил кино каждую ночь, из года в год, и никто не догадывался, что у него такой дар. Ни одной живой душе не открыл он свою удивительную способность. Так-то оно верней.

Семируккие

– Это не вдруг приходит, – сказал дедушка. – Том у нас припозднился. К тебе раньше пришло и до сих пор не кончается. Делаешь открытия, глядишь во все глаза, ничего не пропускаешь, втягиваешь запахи, пробуешь на язык. Ушами не хлопаешь. Так держать. Люди такую способность частенько теряют, а им хоть бы что. Ты на них не оглядывайся. Что тебе дано, с тем шагай по жизни. Вот как я. День за днем с этим живу. Взять хоть эту лужайку или вино из одуванчиков. Нужно видеть, слышать, чувствовать, трогать, нюхать, удивляться – и любить. Вытяни руки. Господь дал их тебе целых семь. Правую и левую, а вдобавок еще нос, рот, глаза, уши, кожу.

Кто перестал удивляться, тот перестал любить, а перестал любить – считай, у тебя и жизни нет, а у кого жизни нет, Дуглас, дружище, – тот, считай, сошел в могилу.

Серьезный разговор (или Мировое зло)

– Дуглас, – сказал дед, – надо тебе поскорее на учиться видеть разницу между желаемым и действительным. Отличать то, что нам вдолбили, от того, что существует на самом деле. Только тогда ты поймешь, чего ожидать от жизни, парень. Увидишь мир без прикрас. Это не значит, что надо быть циником, который свои мечты загоняет в темный угол, а потом злится на весь белый свет. И скептиком быть вовсе не обязательно. Даже не знаю, как это лучше сказать. Нужно просто вырасти таким человеком, который смотрит на мир открытыми глазами и не обманывается. В таком случае даже людское вероломство покажется забавным, не более того. Когда поймешь, что в человеческой природе всегда есть частица зла, тебе будет легче выстоять.

Светлячки

– Светлячки назад не возвращаются, – сказал дед, сидя на нижней ступеньке крыльца.

– А куда им возвращаться?

– Мне отец рассказывал, будто это звезды, упавшие с небосклона. Летними ночами – так он говорил – Бог вытряхивал печурку и перевернул ее вверх дном, вот уголья и разлетелись в разные стороны. Беги-ка, подначивал он, налови светляков. Ну я, бывало, как побегу, так по светлячку в каждой руке несу.

– Давай и я тебе пару штук принесу, – вызвался Дуглас.

– Вот спасибо.

Дуглас передвигался беззвучно. Уже стемнело, на небе горели звезды, а в траве точно так же горели светлячки.

– Почему-то больше не светятся!

– И верно. Ты кулачок-то не сжимай.

– Погасли!

– Это они с перепугу.

Светляки перекочевали в дедову ладонь, подставленную чашей. Прошло совсем немного времени, и они снова засветились.

– Вот бы мне изнутри светиться!

– Ты и так светишься, дружок. Все мы, бывает, светимся. Поэты, к примеру, пишут: «Любовь сияет чистым светом». Вот тебе подтверждение. Что прекрасно, как этот свет, то дорогого стоит.

– Да я не в том смысле!

– А я давеча видел, как ты на маму смотришь. Хоть книжку читай в темноте рядом с твоей рожицей.

– Ну...

– Так точно, сэр! – Дедушка поднял светлячков повыше. – Давай-ка их отпустим, чтоб светились. – Он раскрыл ладонь. Светляки взмыли в воздух, загораясь мягкими огоньками. – Любовь – прекрасная штука, сэр, доложу я вам.

– А вот мы на утренниках, когда любовь начинается, встаем и выходим из зала – попкорна там купить или в туалет сбегать.

– Вас можно понять.

– Иногда такие глупости показывают – хорошо, хоть не каждую субботу.

- А нас с бабушкой, часом, в кино не показывают?
- Нет, откуда?
- А маму с папой, себя, братишку не видал на экране?
- Нет еще.

– Думаю, и не увидишь. Равно как и приятелей твоих, и тетушек с их мужьями, и наших квартирантов. Если только прослышишь, что в киношке «Элит» крутят фильм про нас с бабушкой, про мать с отцом, про всю нашу родню, про жильцов, – сразу меня зови. Я с тобой пойду. Будем аж до полуночи сидеть в зале, покуда нас не выметут с мусором. А до той поры, Дуглас, смело бегай отлить, когда на экране пойдут всякие глупости. У тебя голова правильно устроена. Всем известно: любовь совсем не такая.

– Чарли Хенвуд говорит: одна надежда, что это все вранье.

– А ты, видно, задумываешься, где ж тогда правда? Вот как раз об этом я тебе и толкую: любовь там, где мы с тобой, и бабушка, и все наши дети-внуки, и племянники, и жильцы. В наших отношениях, за вычетом ссор и размолвок. Вот и все, ничего заумного. Это когда среди распрей стараешься жить с миром. Это когда бабушка печет пироги с тыквой, а я вырезаю для тебя свисток из орешины. Это когда ты сидишь вот так, как сейчас, и слушаешь не перебивая. И когда вы с братишкой ложитесь спать зимним вечером и греете ноги, ступню о ступню. Когда мама ждет отца с работы и смотрит на часы – не стряслось ли какой беды. Когда за ужином всем весело. Когда Нива садится за пианино, а мы хором поем. Это когда можно отдохнуть на веранде, а по осени перебраться в дом и сразиться в шашки. И много чего другого – всего не перечесать. Но чтобы увидеть такое в кино, на субботнем утреннике, должно случиться чудо. Да и на вечерних сеансах не лучше. Раз в год, может, появляется что-нибудь стоящее. А так, по моим понятиям, все больше показывают скопище кроликов, которые дубасят друг друга по башке. Знаешь ли ты, почему в фильмы вставляют эти сцены с поцелуями? Да потому, что киношникам сказать больше нечего. Пустого человека сразу видно. Когда будут показывать всякие глупости, Дуглас, смело выходи из зала и переждидай на углу. Вот продавец попкорна держит кошку с котятами – у них и то любви поболее, чем тебе за твои же десять центов в кино покажут. Не давай себя дурить. Поцелуй – это лишь первая нотка первого такта. А дальше пойдет симфония, но может случиться и какофония – то-то давка будет на выходе!

– Зачем вообще нужна эта любовь?

– Ну как же? Она, можно сказать, смазочное масло. Трение устраняет. Ведь в жизни как: то на чей-то локоть напорешься, то сам кому-нибудь ногу отставишь. Люди почем зря мутузят друг друга поварешками, причем без

злого умысла, а потому надо заранее погрузиться в эту купель с чистейшим маслом, иначе далеко не уедешь. Тормоза сгорят на первой же миле.

Цирк

Поляна за городом опустела.

В восемь вечера, когда уже смеркалось, Том Сполдинг прибежал на край этого пустыря и остановился перевести дух среди запахов и шепотов летнего разнотравья.

– Вот здесь он был, – вертелось у него в голове. – Ну почему я не смог прийти? Как назло, провалялся с простудой.

Медленным шагом он приблизился к центру поляны. Втягивая носом воздух, постоял под необъятной люстрой, в которой вспыхивали и разгорались все новые созвездия.

– Вот тут отдыхали львы...

В воздухе повеяло желтым запахом – запахом нагретых солнцем опилок, африканской пыли и удушливой едкости. В сухой траве, как желтые глаза хищников, блеснули кусочки кварца, но стоило за ними нагнуться, как они превратились в обычные камешки.

– Вот тут стояли слоны.

Ветер усилился, взмыл вверх и обвил его прохладным хоботом. Невидимый глазу, ветер качался из стороны в сторону. А из слоновьего запаха вырос огромный вольер.

– Вот отсюда можно было их покормить.

Он подобрал несколько ореховых скорлупок, внимательно осмотрел со всех сторон и сунул в карман.

– А тут были обезьяны, зебры, верблюды.

На ветру зашуршали сухие кусты. Летние зарницы щедро позолотили склоны холмов, а потом побледнели и беззвучно исчезли.

Даже циркового шествия и то не было. Львов перекричала городская команда «Львы». Слонов потеснили «Лоси». Каллиопу заткнули и придушили канцелярской волокитой, и все циркачи ретировались, чтобы не угодить под передвижные платформы «Бизонов», «Орлов» и масонов. Киванианцы, протянувшие руку для своего пресловутого рукопожатия, получили по пальцам от полковника Куотермейна. Куотермейн, Куотермейн – это имя в те дни бесконечно скандировала толпа, на каждой улице, в каждом окне был выставлен его портрет, а сам он выступал у каждого памятника в День поминовения, молча стоял лицом на восток в День перемирия и выкрикивал команды Четвертого июля, вытянувшись меж черных как смоль пушек времен Войны за независимость. Его глазами

сверкали орлы на обороте каждой долларовой бумажки. Его зубы очерчивались в злобной ухмылке на вывесках всех городских дантистов. Его лысая голова мерещилась всякому, кто открывал холодильник, чтобы достать свежее яйцо. Он открыл свою огнедышащую пасть – и обратил цирк в паническое бегство. И к тому же издал указ, запрещающий использовать труд детей при установке опор для шапито. Куотермейн, Куотермейн. Вспоминая о нем, Том проникался таким же отвращением, какое, насколько он знал, вызывали у Дугласа стервятники и змеи.

– А вот тут была арена, и распорядитель в черном шелковом цилиндре выкрикивал: «Почтеннейшая публика!»

Он остановился в самом центре вымершего пустыря.

– А там, наверху, летали на трапециях воздушные гимнасты в костюмах цвета сахарной ваты.

Теперь ночной ветер раскрутил огромную карусель запахов, цветов и звуков, пинками расшвырял пустые жестянки; травы мягко пружинили, как крадущиеся львы, а Том смотрел в небо, где плавали клочки бумаги, то устремляясь к земле, то взмывая ввысь. Пустырь вздрогнул и пришел в движение, потому что ветер запел в точности как каллиопа, листья пустились в пляс, а мальчонка вытянул руку с невидимым хлыстом. Взглядом он призвал к тишине галерку. Птицы с гомоном разлетелись.

Ветер утих.

Постояв еще с минуту, Том сник и опустил руки. Он побрел через пустырь. На краю остановился – и все запахи вдруг сгустились, да так, что хватило бы до следующего года, до конца весны, а то и до лета, если только не втягивать их в себя с чрезмерной жадностью и не шастать сюда почем зря. Но если выбрать время среди зимы, прибежать под покровом темноты, чтобы луна светила не слишком ярко, да еще поймать нужный ветер, можно было рассчитывать на что угодно.

– Вот здесь он стоял, точно, – сказал Том сам себе.

И побрел прочь от заветной поляны в ночной летний город.

Кладбище (или Склеп)

Так уж было заведено. Каждое лето, в один из воскресных июльских дней, они усаживались в открытый автомобиль, с грохотом выруливали на сонные магистрали, потом сворачивали на грунтовые дороги, а там через леса – прямиком до кладбища «Гринрэвин», где по правую и по левую руку, словно кегли, поднимались надгробья, под которыми лежали родственники: тетушки и их дети, умершие ночью, дядюшки, скончавшиеся средь бела дня, отцы и матери, сестры и братья, которые хотели, когда вырастут, стать пожарными и медсестрами, а теперь лежали в гробах, забитых гвоздями и придавленных каменными крестами. Вот уже четыре года, оказываясь в этом месте, Чарльз убегал от родни, чтобы побродить в одиночку среди застывших от ужаса надгробий, потрясенных своим предназначением; он проводил пальцами по высеченным в камне буквам и с закрытыми глазами читал имена, как безмолвный брайлевский шрифт, шепотом выговаривая: «Б-Э-Н-Г-Л-И. Бэнгли! Умер в тысяча девятьсот двадцать четвертом». И дальше, дальше, к другим именам, к другим кладбищенским дорожкам. Четыре года назад он забрел в лощину и случайно наткнулся на это каменное строение: подергал дверь, обнаружил, что она не заперта, и шагнул в тишину. Ох как же перепугались тогда его тетки, как забегали двоюродные братья и сестры, когда его хватились. А он таился, сколько ему заблагорассудилось, и вышел сам, так и не сознавшись, где пропадал. Сказал, что просто хотел побегать. Ему задали взбучку, но дело того стоило.

Прячась в кладбищенском овраге, среди летних бабочек и приглушенных зелеными мхами отголосков, он всякий раз слышал, как его зовут родные – выстроились вдоль неторопливого зеркального ручья и кричат, кричат, приложив ладони рупором: их голоса доносились до него по длинному горлу подземного русла. А он фыркал, не давая выплеснуться разбиравшему его смеху, словно закупоривал кувшин с водой. И убегал все дальше, петляя среди кладбищенских поганок, которые в полумраке летнего дня смахивали на куски белого сыра и лунного камня. В тишине оврага его шаги, точно дождевые капли, шлепали по мягким зеленым тропкам, и чем дальше он убегал, тем больше становилось имен на каменных плитах: Белтон, Сирс, Роллер, Смит, Браун, Дэвис, Брейден, Джонс. Лэkel, Никсон, Мертон, Беддоуз, Сполдинг. Царство имен и молчаний. А где-то далеко-далеко слышались крики его матери и отца,

теток и двоюродных братьев с сестрами:

– Чарльз, Чарльз, Чарльз, Чарли, Чарльз!

Он остановился у того самого склепа, дернул дверь с бесполезным замком и проскользнул внутрь. А изнутри склеп этот походил на свадебный торт, причудливо украшенный и неправдоподобно восхитительный. Четырьмя окнами смотрел он на четыре стороны света, на мшистую тишину, плакучие деревья и маленькие водопады, с трепетом сбегавшие по темному склону в подземное русло. Теперь по тропинке стайкой белых бабочек порхали его кузины с растрепавшимися соломенными волосами и блеском в глазах.

– Чарльз, Чарльз, Чарльз, Чарли!

Следом за ними поспевали его дородные тетушки, не на шутку встревоженные такими шалостями; от волнения они кружились и путались в белых юбках, которые развевались в неподвижном воздухе.

– Чарльз!

* * *

Шестьдесят лет солнце выжигало траву; шестьдесят лет осень раздевала догола деревья, шестьдесят лет зима сковывала ручей льдом и метила трещинами покосившиеся каменные плиты, пока ветра гонялись за холодами; шестьдесят лет весна расцветчивала свежие луга, где бабочки были пышными, как цветы, а цветы – бесчисленными, как бабочки.

И вот как-то осенним днем, когда небо дышало леденящим холодом, а ветер, поднимая с земли невидимые жестянки, гремел ими в летящих кронах, по тропинке, озираясь по сторонам, шла немолодая женщина, совсем одна, тонкая, как тростинка, и высохшая до желтизны, как последний лист.

Остановившись у того самого склепа, она покивала головой и вздохнула. Потом приблизилась к заветному окошку и хотела заглянуть внутрь. Но на стекле толстым слоем лежала пыль, которую она медленными движениями, с дрожью в руках стерла тонким носовым платочком с цветочной каймой.

За окном, в безмолвном сумраке, она увидела мальчугана, который облокотился на высокий подоконник и глядел на нее и на тишину, на суровую осень и голую землю, и снова на эту старую женщину, вернувшуюся через столько лет. Она видела его голову, похожую на иссушенный плод, его хрупкую, истонченную временем руку и тонкие

пальцы.

– Чарльз, – произнесла она в окно, отступив назад. – Чарли, я сегодня вспомнила о тебе. Впервые за долгие годы. Сколько же времени прошло? Шестьдесят лет. Я о тебе совсем забыла. Уже через год. Переехала в Филадельфию и все выбросила из головы. Мне казалось, это всего лишь сон. Потом я вышла замуж, родила детей, а теперь мужа моего больше нет, я живу одна, состарилась, мне сейчас семьдесят, Чарльз, и вот сижу я нынче утром дома – год назад вернулась в родные края, – гляжу на небо, и вдруг как ударило. Все было как в бреду, я даже поверить не могла, вот и пришла сюда, чтобы убедиться. Теперь я вижу, что это был не сон, потому что ты здесь. А мне и сказать нечего.

Мальчик смотрел из окна сквозь запыленное стекло.

– Прости меня, Чарли, слышишь? Прости. Я знаю, уже слишком поздно, но ты прости. И выслушай, Чарльз, выслушай меня. Моя жизнь кончена, ее словно и не было. В семьдесят лет она видится как одно мгновение. И теперь я пришла туда, где был ты и где остался навсегда; тебе больше неведомы ревность и ненависть, ибо всему есть свое время, и сейчас наступает мой черед.

На исходе лета

Лето уже предвидело своей конец, закруглялось, вытряхивало последние сверкающие песчинки из верхней колбы песочных часов. Крепко держась за пышные кроны, оно нет-нет да и роняло листок-другой, если подкрадывался ласковый ветер. Лето не противилось, когда дождь размывал изумрудную краску травы. А о цветах оно позабыло: те отвернулись и зачахли. В царстве пернатых начался большой переполох, какой бывает в семье накануне переезда: птицы носились как угорелые, не хуже ребятни, – им не терпелось отправиться в путь.

Когда лету приходил конец, ветер всегда стонал и не находил себе места. В каждом дворе лето сгребали в легкий ворох и предавали огню; следить за погребальными кострами доверяли детям, а дым поднимался к небу, чтобы сообщить птицам, куда полетел ветер и в какой стороне ждет бескрайний юг.

– Ранние заморозки – к ранней оттепели, – приговаривал дед. – Глянь-ка на эту листву. А воздух-то нынче какой: пахнет как в старинной книжной лавке.

Плоды, разрезанные на четвертинки, выдержали на спирту и укупорили в бутылки, которые уже выстроились на полках. Дом хвалился свежей краской, подправленной кровлей и аккуратной замазкой, готовый к любому ненастью. Ветви почуявших свободу яблонь, словно руки, избавившиеся от перчаток, тянулись к небесным просторам. В подвальное окно вставили металлический лоток, по которому лавиной хлынул уголь, и в деревянной загородке стремительно рос черный вулкан. Это зима напоминала о себе грохотом камнепада! Сама-то она явится чуть позже: опустится на землю кружевной шалью, упавшей с плеч незнакомки. Пройдет еще немного времени, и зима, спознавшись с ветром, начнет мало-помалу подниматься, затопит каждое крыльцо, доберется до городских крыш и башен, повсюду наведет свой порядок. Сноровистые облака начисто протрут небосвод, прежде испещренный птичьими стаями. На город одна за другой обрушатся бури, но вскоре улетят высоко-высоко, где и следа их не видно, и станут гоняться друг за дружкой среди серых небесных гор, забавы ради посылая вниз то молнии, то морозы. И все сойдется к тому, что на горизонте замаячит то самое утро, когда, проснувшись, ты услышишь, как мир затаил дыхание, чтобы не спугнуть тишину, кружевом ниспадающую с небес, и белизну, что летит

исполинской бабочкой и мягко опускается на лужайку. И все эти чудеса предсказал один-единственный прорицатель – первый сентябрьский денек.

notes

Примечания

1

Тринадцать по Цельсию.

«That Old Black Magic» (1942) – популярная песня Гарольда Арлена и Джонни Мерсера; исполнялась оркестром Глена Миллера, Фрэнком Синатрой, Эллой Фицджеральд, Мэрилин Монро (в фильме «Автобусная остановка») и многими другими.

Перевод А. Эппеля.